

СОМЕРСЕТ
МОЭМ

Подводя итоги



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Сомерсет Моэм
Подводя итоги

«АСТ»

1938

УДК 821.111
ББК 84 (4Вел)

Моэм С.

Подводя итоги / С. Моэм — «АСТ», 1938

ISBN 978-5-271-41310-0

Автобиографические заметки, в которых Сомерсет Моэм подводит итоги своего творческого пути и раскрывает секреты литературного мастерства. Одни критики называли эту книгу «манифестом законченного циника», другие – «самым искренним из произведений Моэма». Возможно, доля истины присутствует в обеих этих оценках. И оттого читать «Подводя итоги» еще интереснее...

УДК 821.111
ББК 84 (4Вел)

ISBN 978-5-271-41310-0

© Моэм С., 1938
© АСТ, 1938

Содержание

I	6
II	8
III	9
IV	10
V	11
VI	12
VII	13
VIII	15
IX	17
X	19
XI	21
XII	22
XIII	25
XIV	27
XV	28
XVI	30
XVII	32
XVIII	33
XIX	35
XX	37
XXI	39
XXII	40
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Сомерсет Моэм

Подводя итоги

Роман

W. Somerset Maugham
The Summing Up

Печатается с разрешения The Royal Literary Fund и литературных агентств AP Watt Limited и Synopsis.

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© W. Somerset Maugham, 1938

© The Royal Literary Fund

© Перевод. М. Лорие, наследники, 2008

© Издание на русском языке AST Publishers, 2012

I

Эта книга – не автобиография и не мемуары. Все, что случалось со мною в жизни, я так или иначе использовал в своих произведениях. Бывало, что какое-нибудь мое переживание служило мне темой, и я выдумывал ряд эпизодов, чтобы выявить ее; но чаще я брал людей, с которыми был близко или хотя бы слегка знаком, и на их основе создавал своих персонажей. Факты и вымысел в моих книгах так перемешаны, что сейчас, оглядываясь назад, я не всегда могу отличить одно от другого. Записывать факты, которые я уже употребил с большей пользой, мне было бы неинтересно, даже если бы я мог их припомнить. К тому же они показались бы очень пресными. Я прожил разнообразную, временами очень интересную жизнь, но приключениями она не богата. У меня плохая память. Анекдоты я помню, только пока мне их рассказывают, а потом забываю, не успев пересказать другим. Я никогда не запоминал даже собственных шуток, почему и был лишен возможности повторять их. И я понимаю, что этот недостаток умаляет удовольствие от общения со мною.

Я никогда не вел дневника. Теперь я жалею, что не делал этого, когда впервые добился успеха как драматург: в тот год я встречался с многими незаурядными людьми, и мои записи могли бы представить собою интересный документ. То было время, когда вера народа в аристократию и земельное дворянство рухнула из-за бездарности, проявленной ими в Южной Африке, но аристократы и дворяне-землевладельцы еще не поняли этого, и самоуверенность их ничуть не уменьшилась. В домах некоторых политических деятелей, где мне довелось бывать, они все еще говорили так, словно управление Британской империей было их личным делом. Помню, с каким странным чувством я слушал их рассуждения насчет того, отдать ли после всеобщих выборов министерство внутренних дел Тому и удовлетворится ли Дик Ирландией. Едва ли кто-нибудь сейчас читает романы миссис Хэмфри Уорд, но, как они ни скучны, они, сколько помнится, дают хорошее представление о жизни правящего класса того времени. Эта жизнь все еще очень интересовала романистов, и даже писатели, в глаза не видевшие лорда, считали своим долгом писать по преимуществу о знати. Взглянув на тогдашние театральные афиши, всякий поразился бы количеству титулованных персонажей. Директора театров считали, что такие персонажи привлекают публику, актеры любили изображать их. Но по мере того, как политическое значение аристократии сходило на нет, публика все меньше интересовалась ею. Зрители уже согласны были видеть на сцене людей своего собственного класса – богатое купечество и профессионалов-интеллигентов, вершивших в то время дела страны; и понемногу вошло в силу неписаное правило – не вводить в литературное произведение титулованных особ, если того не требовала тема. Заинтересовать публику жизнью низших классов было тогда еще невозможно. Романы и пьесы, посвященные им, встречали с безразличным высокомерием. Теперь, когда эти классы стали политической силой, интересно, проявит ли широкая публика такой же интерес к их жизни, какой она так долго проявляла к титулованной знати, а некоторое время и к наиболее обеспеченным кругам буржуазии.

В те годы я познакомился с несколькими людьми, которые в силу своего рождения, известности или положения в обществе вполне могли считать себя предназначенными на роль исторических личностей. Они оказались не такими блестящими, как я думал. Англичане – нация политиков, и меня часто приглашали в дома, где политикой интересовались превыше всего. У видных государственных мужей, которых я там встречал, я не обнаружил выдающихся талантов. Из этого я сделал вывод, возможно опрометчивый, что для управления страной не требуется большого ума. Позднее я знавал в разных странах немало политических деятелей, достигших высоких постов, и тоже бывал поражен тем впечатлением интеллектуального убожества, какое они на меня производили. Они были плохо осведомлены в самых простых житейских вопросах, и лишь очень редко я обнаруживал у них тонкий ум или живость воображения.

Одно время я склонялся к мысли, что своим видным положением они обязаны исключительно дару слова, поскольку в демократическом обществе человек, в сущности, не может достичь власти, если он не умеет захватить аудиторию; а дар слова, как известно, не часто сочетается с силой мышления. Но дело, видимо, не в этом, поскольку некоторые деятели, не казавшиеся мне особенно умными, вели государственные дела вполне успешно. Надо полагать, что для управления страной требуется специфический талант, совершенно не зависящий от общей талантливости. Я знал и деловых людей, которые наживали большие состояния и возглавляли крупные, процветающие предприятия, но во всем, что не касалось их дела, не могли проявить хотя бы здравого смысла.

И разговоры, которые я тогда слышал, обманули мои ожидания. Они редко давали много пищи для ума. Велись они легко, хотя и не всегда весело; были приятны и поверхностны. Серьезных тем не касались – считалось, что обсуждать их в обществе неудобно; а «профессиональными» разговорами эти люди опасались нарушить хороший тон и потому не говорили о том, что их больше всего интересовало. Сколько я мог судить, разговор сводился к пристойному злословию, но не часто доводилось услышать в нем остроту, которую стоило бы повторить. Впору было подумать, что единственное назначение культуры – это научить людей болтать глупости с важным видом. Самым, пожалуй, интересным, неизменно занимательным собеседником, какого я встречал, был Эдмунд Госсе. Он очень много читал, хотя, видимо, не слишком внимательно, и в разговоре так и сверкал умом. У него была потрясающая память, тонкое чувство юмора, лукавство. Он близко знал Суинберна и увлекательно рассказывал о нем, но и о Шелли, с которым он уж никак не мог быть знаком, он умел говорить как о закадычном друге. В течение многих лет он общался со всякими известными людьми. Я думаю, что он был тщеславным человеком и наблюдать их слабости и причуды доставляло ему удовольствие. Я убежден, что в его рассказах они были гораздо занятнее, чем в жизни.

II

Меня всегда поражало, почему люди так стремятся к знакомству со знаменитостями. Престиж, который знакомство со знаменитым человеком создает вам в глазах ваших друзей, доказывает только, что сами вы немногого стоите. Знаменитости вырабатывают особую технику общения с простыми смертными. Они показывают миру маску, нередко убедительную, но старательно скрывают свое настоящее лицо. Они играют роль, которой от них ожидают, и постепенно выучиваются играть ее очень хорошо, но глупо было бы воображать, что актер играет самого себя.

В моей жизни было несколько человек, к которым я был привязан, глубоко привязан; но людьми вообще я интересуюсь не ради них, а ради моей работы. В каждом человеке я, игнорируя завет Канта, вижу не самоцель, а материал, который может пригодиться мне как писателю. И неизвестные люди занимают меня больше, чем известные. Они чаще бывают самими собой. Им не нужно изображать кого-то, чтобы защититься от мира или поразить его воображение. В ограниченной сфере их деятельности индивидуальные их свойства легче могут развиться, и поскольку они не находятся в центре внимания, им не приходит в голову, что они должны что-то скрывать. Они открыто проявляют свои чудачества, потому что не знают за собой ничего чудного. И ведь в конце концов нам, писателям, приходится иметь дело с обыкновенными людьми; короли, диктаторы, промышленные магнаты, с нашей точки зрения, мало чем могут порадовать. Сколько раз писатели поддавались искушению писать о них, но неудачи, которыми кончались такие попытки, показывают, что это личности слишком исключительные, чтобы брать их в основу произведения искусства. Их нельзя сделать реальными. Область обыкновенного куда богаче для писателя. Ее неожиданность, неповторимость, ее бесконечное разнообразие дают ему неисчерпаемый материал. Великий человек слишком часто бывает сделан из одного куска; маленький человек – это клубок противоречивых элементов. Он неистощим. Нет конца сюрпризам, которые у него припасены для вас. Я лично куда охотнее провел бы месяц на необитаемом острове с ветеринаром, чем с премьер-министром.

III

В этой книге я постараюсь привести в порядок свои мысли о предметах, которые больше всего занимали меня на протяжении моей жизни. До сих пор выводы, к которым я пришел, носились у меня в голове, как обломки корабля в бурном море. Мне все казалось, что, закрепив их на бумаге в известной последовательности, я отчетливее увижу, в чем они состоят, и смогу объединить их в нечто целое. Я уже давно подумывал о том, чтобы заняться этим, и не раз, отправляясь в долгое путешествие, решал, что вот теперь для этого наступило самое подходящее время. Но меня всегда захлестывало столько впечатлений, я видел столько нового, встречал столько людей, завладевавших моим воображением, что некогда было спокойно подумать. Я так интенсивно жил настоящим, что, хоть убей, не мог настроиться на интроспективный лад.

Отпугивала меня также нудная задача непосредственно излагать мои собственные мысли. Ибо хотя я часто писал от первого лица, но писал как автор романов и рассказов, а стало быть, в какой-то мере мог считать себя одним из персонажей. В силу долголетней привычки мне удобнее высказываться через посредство вымышленных мною людей. Решать, что они подумали бы, мне легче, чем решить, что думаю я сам. Первое всегда доставляло мне радость; второе было тяжелым трудом, который я с готовностью откладывал на завтра. Но больше откладывать нельзя. В молодости годы тянутся перед нами бесконечно длинной вереницей, и трудно осознать, что они когда-нибудь минуют; даже в среднем возрасте, при нормальной в наши дни жадности к жизни, легко найти предлог, чтобы не делать того, что нужно бы сделать, но не хочется. Но наконец наступает время, когда требует к себе внимания смерть. Один за другим уходят сверстники. Мы знаем, что все люди смертны (Сократ был человеком, следовательно... и так далее), но это, в сущности, остается для нас силлогизмом и абстракцией до тех пор, пока мы не бываем вынуждены признать, что по ходу вещей и наш конец уже не за горами. Просматривая иногда сообщения о смерти в «Таймс», я пришел к мысли, что шестьдесят лет – очень нездоровый возраст; а так как я уже давно знаю, что мне было бы очень досадно умереть, не написав этой книги, то, пожалуй, надо браться за нее немедленно. Закончив ее, я смогу безмятежно смотреть в будущее – труд моей жизни будет закончен. Я не могу больше убеждать себя, что не готов для этой работы: уж если у меня до сих пор не сложилось мнение о том, что кажется мне всего важнее, едва ли оно когда-нибудь сложится. Я рад собрать наконец воедино все мысли, которые так долго плавали вразброд в том или ином уголке моего сознания. Записав их, я с ними покончу и освобожу свою голову для другого – ведь я надеюсь, что это будет не последняя моя книга. Человек не умирает сейчас же после того, как составит завещание; завещание составляют на всякий случай. Привести свои дела в порядок – это хорошая подготовка к тому, чтобы прожить остаток дней без забот о будущем. Закончив эту книгу, я буду знать, чего держаться. И тогда я могу поступить как угодно с теми годами жизни, которые мне еще отпущены.

IV

Разумеется, я скажу здесь много такого, что уже говорил раньше, поэтому я и назвал книгу: «Подводя итоги». Когда судья подводит итоги дела, он вновь останавливается на фактах, которые прошли перед присяжными, и комментирует речи обвинителя и защитника. Новых свидетельств он не приводит. И поскольку всю свою жизнь я вложил в свои книги, многое из того, что я хочу сказать, естественно, нашло себе в них место. Едва ли в сфере моих интересов найдется предмет, которого я бы уже не касался либо всерьез, либо в шутку. Сейчас я могу лишь попытаться дать более или менее стройную картину моих взглядов и мнений и, может быть, кое-где развить более подробно ту или иную мысль, которую раньше только бросил в виде намека, сообразуясь с ограничениями, какие налагают законы прозы и драматургии.

Эта книга по необходимости будет эгоцентрична. В ней говорится о предметах, которые важны для меня, и в ней говорится обо мне, поскольку я могу трактовать эти предметы только так, как я их воспринимаю. Но это не описание моей жизни. У меня нет ни малейшего желания обнажать свою душу, и я не намерен вступать с читателем в слишком интимные отношения. Есть вещи, которые я предпочитаю держать про себя. Никто не может рассказать о себе всю правду. Тем, кто пытался открыть себя людям, не только самолюбие мешало рассказать всю правду, но и самая направленность их интереса; от разочарования в самих себе, от удивления, что они способны на поступки, казалось бы, ненормальные, они без нужды раздувают эпизоды, более обыденные, чем это им представляется. Руссо в своей «Исповеди» рассказывает о случаях, глубоко оскорбивших чувствительных людей во всем мире. Описывая эти случаи с такой откровенностью, он спутал критерии и придал им в своей книге больше значения, чем они имели в его жизни. Это были эпизоды среди тысячи других, возвышенных или хотя бы безразличных, которые он опустил, потому что, на его взгляд, они, как слишком заурядные, не стоили упоминания. Есть люди, которые оставляют без внимания свои хорошие поступки, но мучаются тем, что они совершили дурного. Именно этого типа люди чаще всего пишут о себе. Они умалчивают о своих похвальных свойствах и поэтому кажутся нам только слабыми, беспринципными и порочными.

V

Я пишу эту книгу, чтобы вытряхнуть из головы некоторые мысли, которые что-то уж очень прочно в ней застряли и смущают мой покой. Я не стремлюсь никого убеждать. У меня нет педагогической жилки, и, когда я что-нибудь знаю, я не испытываю потребности поделиться своими знаниями. Мне более или менее все равно, согласны ли со мной другие. Разумеется, я считаю, что я прав – иначе я бы не думал так, как думаю, – а они не правы, но их неправота меня мало трогает. Не волнуюсь я и тогда, когда обнаруживаю, что мое суждение идет вразрез с суждением большинства. Я до некоторой степени доверяю своему инстинкту.

Я должен писать так, словно я – очень важная персона; да я и есть важная персона – для себя самого. Для себя я – самая значительная личность на свете, хотя я и не забываю, что, не говоря уже о такой грандиозной концепции, как Абсолют, но даже просто с точки зрения здравого смысла я ровно ничего не значу. Мало что изменилось бы в мире, если бы я никогда не существовал. Может показаться, что я пишу так, словно предлагаю считать некоторые свои произведения из ряда вон выходящими; на самом же деле они просто важны для меня, поскольку мне приходится упоминать о них в ходе моих рассуждений. Я думаю, что мало найдется серьезных писателей – а я имею в виду не только авторов книг о серьезных материях, – совершенно равнодушных к тому, что станет с их произведениями после их смерти. Приятно думать пусть не о том, что ты достиг бессмертия (бессмертие литературного произведения исчисляется в лучшем случае несколькими столетиями, да и то это обычно лишь бессмертие в школьной программе), но о том, что несколько поколений будут читать тебя с интересом и что ты займешь хотя бы скромное место в истории литературы своей страны. Что касается меня, то я и на такую возможность смотрю скептически. Еще на моей памяти некоторые писатели, в свое время наделавшие в литературном мире гораздо больше шума, были преданы забвению. Когда я был молод, мы не сомневались, что книгам Джорджа Мередита и Томаса Гарди суждена долгая жизнь. Но современной молодежи они почти ничего не говорят. Время от времени какой-нибудь критик в поисках темы напишет о них статью, и тогда несколько читателей возьмут из библиотеки тот или другой роман; но едва ли я ошибусь, сказав, что ничего из написанного ими не будут читать так, как читают «Путешествия Гулливера», «Тристрама Шенди» или «Тома Джонса».

Тон этой книги может показаться догматичным, но это лишь потому, что мне очень скучно предпосылать каждой фразе оговорки вроде «я считаю» или «по моему мнению». Все, что я говорю, – не более как мое мнение. Читатель волен соглашаться или не соглашаться со мной. Если у него хватит терпения дочитать книгу до конца, он увидит, что с уверенностью я утверждаю лишь одно: на свете есть очень мало такого, что можно утверждать с уверенностью.

VI

Писать было для меня с самого начала так же естественно, как для утки – плавать. Я до сих пор иногда удивляюсь, что я – писатель: к этому не было никаких причин, кроме непреодолимой склонности, а почему такая склонность во мне возникла – непонятно. Больше ста лет мужчины в нашей семье занимались юриспруденцией. Если верить «Биографическому словарю», дед мой был одним из двух основателей Общества юристов, и в каталоге библиотеки Британского музея имеется длинный перечень его юридических трудов. Только одна из написанных им книг была другого рода. Это – сборник эссе, которые он ранее помещал в солидных журналах того времени, и выпустил он их анонимно, сообразуясь со своим понятием о благопристойности. Однажды я держал в руках эту красивую книжку, переплетенную в телячью кожу, но тогда я ее не прочел, а позднее не мог найти. Это очень жаль – она, вероятно, помогла бы мне узнать, что за человек был мой дед. Много лет он прожил на Чансери-лейн, потому что стал секретарем основанного им общества, а уйдя в отставку и переселившись на Кенсингтон-роуд, в дом, выходивший окнами в Хайд-парк, получил в подарок поднос, чайный и кофейный сервизы и плоскую вазу – все из серебра и все такое вычурное и массивное, что потомки его до сих пор не знают, что делать с этим добром. Один старый адвокат, которого я знал в детстве, рассказывал мне, что, находясь в обучении, был однажды приглашен к моему дедушке на обед. Дедушка нарезал ростбиф, после чего слуга поднес ему печеного картофеля. Печеный картофель, если взять к нему побольше масла, перца и соли, – удивительно вкусное блюдо, но дед мой, видимо, держался иного мнения. Он встал со своего места во главе стола и расшвырял картофелины в картины, висевшие на стенах, – по одной в каждую картину. Затем, не говоря ни слова, сел и продолжал обедать. Я спросил своего знакомого, какое впечатление это произвело на остальное общество. Он ответил, что никто и бровью не повел. Еще он сказал мне, что в жизни не видел никого безобразнее моего деда. Я побывал в здании юридического общества на Чансери-лейн, зная, что там висит его портрет: мне хотелось проверить, так ли уж он был безобразен. Если старичок говорил правду, значит, художник сильно польстил моему дедушке: на портрете у него очень красивые темные глаза под черными бровями, и в глазах – насмешливый огонек; твердый подбородок, прямой нос и полные красные губы. А темные волосы развеваются на ветру так же эффектно, как у мисс Аниты Лус. В руке он держит гусиное перо, рядом с ним лежит стопка книг – конечно, его собственные сочинения. Несмотря на черный сюртук, вид у него не такой почтенный, как я ожидал, а скорее чуть озорной. Много лет назад, когда я после смерти одного из его сыновей – моего дяди – уничтожил семейные бумаги, мне попался дневник, который дед мой вел молодым человеком, в начале девятнадцатого столетия, совершая то, что принято было тогда называть малым туром, то есть путешествие по Франции, Германии и Швейцарии; и мне запомнилось, что, описывая не слишком внушительные пороги на Рейне у Шафхаузена, он возносил хвалу всевышнему за то, что, сотворив «сей преизрядный водопад», он дал возможность «жалким творениям своим уразуметь свое ничтожество по сравнению с неизреченным великолепием его трудов».

VII

Своих родителей я потерял так рано – мать в восемь лет, а отца в десять, – что знаю о них главным образом по рассказам. Отец мой, не знаю почему, разве что повинувшись той беспокойной тяге к неизвестному, которая всегда снала его сына, уехал в Париж и стал юрисконсультом английского посольства. Контора его помещалась напротив посольства, в предместье Сент-Оноре, но жил он на тогдашней авеню д'Антен – широкой, обсаженной каштанами улице, начинающейся у площади Рон Пуэн. По тем временам он мало путешествовал – побывал в Турции, Греции, Малой Азии, в Марокко добрался до Феса, куда в те дни заглядывало очень мало иностранцев. У него был неплохой подбор книг о путешествиях, а в квартире на авеню д'Антен хранилось множество предметов, вывезенных из разных стран: танагрские статуэтки, гончарные изделия Родоса и турецкие ятаганы с богато разукрашенными серебром рукоятками. Ему было сорок лет, когда он женился на моей матери, которой не было еще и двадцати. Она была на редкость красивая женщина, а он – на редкость некрасивый мужчина. Мне рассказывали, что в Париже их прозвали Красавица и Чудовище. Отец ее был военным; он умер в Индии, и его вдова, моя бабка, растратив порядочное состояние, поселилась во Франции и жила на пенсию. Видимо, она была женщиной с характером и к тому же одаренная: она писала по-французски романы pour les jeunes filles¹ и сочиняла салонные романсы. Мне приятно думать, что ее романы читали, а романсы пели высокородные героини Октава Фейе. У меня есть ее фотография – небольшой снимок женщины средних лет, в кринолине, с прекрасными глазами и выражением лица твердым и доброжелательным. Мать моя была очень миниатюрна, с большими карими глазами, волосами цвета червонного золота, тонкими чертами лица и прелестной кожей. Она вызвала всеобщее восхищение. Большой ее приятельницей была леди Энглси, американка, дожившая до очень преклонных лет. Она сама мне рассказывала, что однажды сказала моей матери: «Вы такая красавица, столько мужчин вами увлекается, почему вы верны своему уродцу мужу?» И моя мать ответила: «Он никогда не оскорбляет моих чувств».

Единственное написанное ею письмо, которое я видел, попало мне в руки, когда я разбирал бумаги своего умершего дяди. Он был священником, и в письме она просила его быть крестным отцом одного из ее сыновей. Очень просто и смиренно она выражала надежду, что, будучи служителем церкви, он окажет на своего крестника благотворное влияние и ребенок вырастет добрым и богобоязненным. Она прочла несчетное количество романов; в бильярдной на авеню д'Антен стояло два больших книжных шкафа, набитых книжками в издании Таухница. Она болела туберкулезом, и я еще помню, как у наших дверей останавливались ослики – ее поили ослиным молоком, считавшимся в то время лекарством от этого недуга. На лето мы снимали дом в Довилле – тогда это был еще не модный курорт, а рыбацья деревушка, которую совершенно затмевал фешенебельный Трувиль, – а зимою она в последние годы жила в По. Однажды, когда она лежала в постели, вероятно после кровохарканья, уже зная, что дни ее сочтены, ей пришло в голову, что сыновья ее, когда подрастут, не будут даже знать, как она выглядела перед смертью; и вот она позвала горничную, велела одеть себя в вечерний туалет из белого атласа и поехала к фотографу. Она родила шестерых сыновей и умерла от родов. У тогдашних врачей была теория, что чахоточным женщинам полезно рожать детей. Ей было тридцать восемь лет.

После смерти матери ее горничная стала моей няней. До тех пор няньки у меня были француженки и я ходил во французскую начальную школу. Английского языка я, видимо, почти не знал. Говорят, что однажды, увидев из окна вагона лошадь, я крикнул: «Regardez, maman, voilà un'orse!»

¹ Для молодых девиц (фр.).

Отец мой, сколько я понимаю, был романтиком. Он затеял постройку дома, где собирался жить летом. Купил участок на вершине холма в Сюренне. Оттуда открывался прекрасный вид на равнину и на далекий Париж. С холма вела дорога к реке, у реки приютилась деревенька. Новый дом должен был напоминать виллу на Босфоре, верхний его этаж был опоясан лоджиями. Каждое воскресенье я ездил с отцом на речном трамвае по Сене смотреть, как подвигается постройка. Когда была готова крыша, отец занялся обстановкой дома и для начала купил антикварные каминные щипцы и кочергу. Он заказал множество стеклянной посуды с выгравированным на каждой вещи знаком от дурного глаза – этот знак он разыскал в Марокко, читатель может увидеть его на обложке этой книги. Дом был белый, ставни выкрашены в красный цвет. Перед домом разбили сад. Комнаты обставили, а потом мой отец умер.

VIII

Меня взяли из французской школы, и я стал каждый день ходить на уроки к английскому священнику посольской церкви. Он обучал меня английскому языку, заставляя читать вслух отдел происшествий в «Стандард», и я до сих пор помню, с каким ужасом читал отвратительные подробности убийства, совершенного в поезде между Парижем и Кале. Мне было в то время девять лет. С произношением английских слов я долго не мог справиться, и я никогда не забуду, каким хохотом встречали в пригготовительной школе мои неправильные ударения и как это меня смущало.

За всю жизнь я получил только два урока английского языка, потому что, хотя я и писал в школе сочинения, не помню, чтобы меня когда-нибудь учили строить фразы. Эти два урока были мне преподаны так поздно, что едва ли я уже смогу извлечь из них большую пользу. Первый состоялся всего несколько лет тому назад. Я ненадолго приехал в Лондон и пригласил для временной секретарской работы одну молодую женщину. Она была застенчива, миловидна, и у нее был роман с женатым человеком, занимавший все ее помыслы. Перед тем я написал книгу под заглавием «Пироги и пиво» и как-то в субботу утром, получив переписанную на машинке рукопись, попросил свою секретаршу взять ее домой и выправить к понедельнику. Я хотел, чтобы она только исправила опечатки и отметила места, где машинистка ошиблась, не разобрав моего почерка, который, надо сказать, оставляет желать лучшего. Но секретарша моя была добросовестная молодая особа, и поняла она меня буквально. В понедельник она принесла мне рукопись, а с нею – четыре большие страницы исправлений. Признаюсь, первым моим чувством была легкая досада, но потом я подумал, что, раз человек затратил столько труда, глупо будет не воспользоваться этим, и стал внимательно читать замечания. По всей вероятности, моя помощница окончила коммерческий колледж, и мой роман она исправляла так же методично, как тамошние преподаватели исправляли ее работы. Замечания, которыми она аккуратно исписала четыре большие страницы, были язвительны и строги. Я сразу решил, что преподаватель английского языка в том колледже не стеснялся в выражениях. Он, несомненно, вел твердую линию и ни в чем не допускал двух мнений. Способная его ученица требовала, чтобы каждое мое предложение было построено точно по правилам грамматики. Свое неодобрение по поводу разговорных оборотов она отмечала восклицательным знаком. По ее мнению, на одной странице не следовало дважды употреблять то же слово, и всякий раз она предлагала какой-нибудь синоним. Там, где я позволял себе роскошь разогнать предложение на десяток строк, она писала: «Неясно. Лучше разбить на два или даже три предложения». Когда я давал в своем тексте приятную передышку, обозначаемую точкой с запятой, она возражала: «Точка»; а если я отваживался на двоеточие, едко замечала: «Архаизм». Но самым жестоким ударом был ее вопрос по поводу шутки, которая мне казалась вполне удачной: «Проверено?» В общем, я вынужден заключить, что ее преподаватель поставил бы мне весьма невысокую отметку.

Второй урок мне дал один оксфордский педагог, умный и обаятельный человек, который гостил у меня, когда я сам проверял рукопись другой своей книги. Он был так любезен, что предложил мне прочесть рукопись. Я колебался, зная, что он предъявляет к литературе требования, которые нелегко удовлетворить; и хотя я не сомневался в его эрудиции по части елизаветинцев, его суждениям о современных книгах я не вполне доверял – очень уж он восхищался «Эстер Уотерс»: человек, хорошо знающий французский роман XIX века, не стал бы так высоко ценить это произведение. Однако мне хотелось сделать свою книгу как можно лучше, и я надеялся, что его замечания будут мне полезны. Критика его оказалась весьма снисходительной. Она особенно заинтересовала меня потому, что показывала, как он подходит к работам своих студентов. У этого человека был, видимо, врожденный талант к языку, который

он прилежно воспитывал; вкус его показался мне безошибочным. Особенно меня поразило, какое внимание он уделял силе воздействия каждого отдельного слова. Более весомое слово он всегда предпочитал более благозвучному. Так, например, у меня было сказано, что статуя будет воздвигнута на такой-то площади, а он предложил вариант: статуя будет стоять. Сам я отказался от этого варианта, потому что мне резала слух аллитерация. Я заметил также, что, по его мнению, слова нужно употреблять не только для построения фразы, но и для построения мысли. Это – здравая точка зрения: ведь мысль может не дойти до читателя, если выразить ее слишком грубо; однако действовать нужно с осторожностью, иначе легко впасть в многословие. Здесь писателю должно помочь знание сценического диалога. Иногда актер просит автора: «Вы бы не могли добавить мне несколько слов в этом месте? Если мне больше нечего сказать, вся реплика получается какая-то пустая». Прислушиваясь к замечаниям моего оксфордца, я невольно думал, насколько лучше я бы писал сейчас, если бы в молодости получал такие вот разумные, терпимые и доброжелательные советы.

IX

Но мне пришлось быть самоучкой. Недавно я просмотрел рассказы, которые писал в ранней молодости: мне хотелось понять, какие врожденные способности у меня были, с каким капиталом я начинал, прежде чем взялся сознательно его приумножать. В тоне рассказов сквозит надменность, которую, пожалуй, можно оправдать возрастом, и раздражительность, как следствие плохого характера; но сейчас я говорю только о том, как я выражал свои мысли. Я думаю, что ясность слога и сноровка в обращении с диалогом были присущи мне с самого начала. Когда Генри Артур Джонс, известный в ту пору драматург, прочел мой первый роман, он сказал какому-то знакомому, что с годами я стану одним из самых популярных драматургов своего времени. Вероятно, он усмотрел в моей книге непосредственность и наглядность изображения, что и заставило его предположить у меня чувство сцены. Язык у меня был банальный, словарь ограниченный, фразы избитые, грамматика сильно хромала. Но писать для меня было такой же инстинктивной потребностью, как дышать, и я не задумывался над тем, плохо или хорошо я пишу. Лишь несколько лет спустя я догадался, что это тонкое искусство, которое постигается упорным трудом. Открытие это я сделал, когда почувствовал, как нелегко выразить словами то, что хочешь. Диалог давался мне без малейших усилий, но когда дело доходило до описаний, я запутывался во всевозможных подвохах. По несколько часов я мучился над двумя-тремя фразами и не мог с ними сладить. Я решил, что научу себя писать. К несчастью, помочь мне было некому. Я делал много ошибок. Будь рядом со мною руководитель вроде того чудесного оксфордца, о котором я только что рассказал, это сэкономило бы мне много времени. Такой человек мог бы объяснить мне, что мое дарование, какое ни на есть, направлено в определенную сторону и что в эту сторону его и следует развивать; а пытаться делать то, к чему я не склонен, бесполезно. Но в то время успехом пользовалась орнаментальная проза. Литературную ткань пытались обогатить изысканными оборотами и нагромождением затейливых эпитетов: идеалом была парча, так густо затканная золотом, что она держалась стоймя. Интеллигентные молодые люди зачитывались Уолтером Патером. Здравый смысл подсказывал мне, что это – анемичная литература; за тщательно отделанными, изящными периодами мне виделся усталый, слабый человек. Я был молод, полон сил и жажды жизни; мне хотелось свежего воздуха, действия, опасностей и трудно было дышать в этой мертвой, надушенной атмосфере, сидеть в затихших комнатах, где полагалось говорить только шепотом. Но я не слушал своего здравого смысла. Я убеждал себя, что это – вершина культуры, и с презрением отворачивался от внешнего мира, где люди кричали и сквернословили, валяли дурака, развратничали и напивались. Я читал «Замыслы» и «Портрет Дориана Грея». Я опьянялся изысканной красочностью слов-самоцветов, которыми усыпаны страницы «Саломеи». Ужаснувшись бедности своего словаря, я ходил с карандашом и бумагой в библиотеку Британского музея и запоминал названия редких драгоценных камней, оттенки старинных византийских эмалей, чувственное прикосновение тканей, а потом выдумывал замысловатые фразы, чтобы употребить эти слова. К счастью, мне так и не представилось случая их использовать, и они по сей день хранятся в старой записной книжке к услугам любого, кто вздумал бы писать вздор. В то время было широко распространено мнение, что лучшая английская проза – это «Авторизованный перевод» Библии. Я прилежно читал ее, особенно «Песнь песней» Соломона, выписывая впрок поразившие меня обороты и составляя перечни необычных или просто красивых слов. Я штудировал «Благочестивую смерть» Джереми Тэйлора. Чтобы проникнуться его стилем, я списывал оттуда куски, а потом пытался снова записать их, уже по памяти.

Первым плодом этих трудов была небольшая книжка об Андалузии, озаглавленная «Страна Пресвятой девы». На днях мне довелось перечитать из нее кое-какие места. Андалузию я сейчас знаю гораздо лучше, чем знал тогда, и на многое из того, о чем писал, смотрю

иначе. Поскольку в Америке эта книжка все еще пользуется кое-каким спросом, я подумал, что ее, может быть, стоит переработать. Я быстро убедился в том, что это невозможно. Ее написал человек, которого я начисто забыл. Она показалась мне невыносимо скучной. Но речь идет о качестве ее текста – ведь я писал ее как некое стилистическое упражнение. Это – вымученная проза, полная грусти и намеков. В ней нет легкости, нет свободы. Она отдает тепличными растениями и воскресным обедом, как воздух зимнего сада, примыкающего к столовой какого-нибудь большого дома в Бэйсуотере. Книга изобилует мелодичными прилагательными. Словарь ее сентиментален. Она напоминает не итальянскую парчу с роскошным золотым узором, а драпировочную ткань, изготовленную Моррисом по рисунку Берн-Джонса.

X

То ли следуя подсознательному убеждению, что писать так – значит насиловать свою природу, то ли в силу врожденной методичности, но я затем обратился к классикам XVIII века. Проза Свифта пленила меня. Я решил, что это – мой идеал, и принялся работать над Свифтом так же, как раньше работал над Джереми Тэйлором. Я выбрал «Сказку о бочке». Говорят, что Свифт, перечитывая ее в старости, воскликнул: «Как гениален я был в то время!» На мой взгляд, гений его лучше виден в других произведениях. «Сказка о бочке» – скучная аллегория, и ирония в ней не самого высокого разбора. Но слог – удивительный. Я не могу себе представить, чтобы можно было лучше писать по-английски. Здесь нет ни цветистых периодов, ни оригинальных оборотов, ни высокопарных образов. Это – культурная проза, естественная, сдержанная и отточенная. Никаких попыток удивить читателя необычным словоупотреблением. Похоже, будто Свифт обходился первым попавшимся словом, но, поскольку у него был острый и логический ум, это всегда оказывалось самое нужное слово, и стояло оно на нужном месте. Сила и стройность его предложений объясняются превосходным вкусом. Как и прежде, я списывал куски текста, а потом пытался воспроизвести их по памяти. Я пробовал заменять слова или ставить их в другом порядке. Я обнаружил, что единственно возможные слова – это те, которые употребил Свифт, а единственно возможный порядок – тот, в котором он их поставил. Это – безупречная проза.

Но у совершенства есть один изъян: оно может наскучить. Проза Свифта напоминает обсаженный тополями французский канал, который проходит по приветливой, живописной местности. Спокойное его очарование доставляет удовольствие, но он не будоражит чувств, не будит воображения. Плынешь и плывешь по нему и наконец чувствуешь, что тебе надоело. Вот так же, восхищаясь поразительной ясностью Свифтовой прозы, ее сжатостью, естественностью, отсутствием аффектации, все же со временем чувствуешь, что внимание твое отвлекается, если только самое содержание не удерживает его. Будь у меня возможность начать сначала, я бы, вероятно, стал изучать особенно пристально не Свифта, а Драйдена. Но когда я набрел на его прозу, я уже утратил склонность к таким трудам. Проза Драйдена восхитительна. Она не так совершенна, как у Свифта, не так изящна, как у Аддисона, но в ней пленяет какая-то весенняя веселость, разговорная легкость, жизнерадостная непосредственность. Драйден был очень хорошим поэтом, но едва ли кто-нибудь назовет его лириком; а вот его нежно переливающаяся проза, как ни странно, именно лирична. До него никто в Англии не писал такой прозы; и редко кто писал так после него. Драйден творил в удачный момент. Всем своим существом он еще чувствовал звучные периоды и барочную массивность языка времен Иакова I, а гибкость и находчивость, которые он перенял у французов, позволили ему превратить этот язык в орудие, пригодное не только для возвышенных тем, но и для выражения любой мимолетной, преходящей мысли. Он был первым из художников, работавших в стиле рококо. Если Свифт наводит на мысль о французском канале, то Драйден напоминает английскую речку, которая веселится среди холмов, забегает в тихие, деловитые городки и уютные деревушки, иногда вдруг задержится, разлившись широкой заводью, а потом спешит дальше, в тень лесов. Все в ней – жизнь, разнообразие, свежий воздух, и веет от нее чудесным запахом английской природы.

Работа, которую я проделал, безусловно пошла мне на пользу. Я стал писать лучше, хотя отнюдь не хорошо. Писал напряженно, слишком старательно. Я пытался строить фразы по определенной форме, но не видел, что форма выпирает наружу. Я заботился о том, как расставить слова, но не соображал, что порядок слов, естественный для начала восемнадцатого века, кажется весьма неестественным для начала двадцатого. Того, что больше всего восхищало меня в Свифте, – впечатления непогрешимости – я не мог достичь, покуда старался его копировать. Тогда я написал несколько пьес, забросив все, кроме диалога. Лишь пять лет спу-

стя я опять взялся за роман. Но к тому времени я уже не ставил себе стилистических задач. Я решил писать без всяких ухищрений, в возможно более оголенной и неприкрашенной манере. Мне столько нужно было сказать, что я не мог позволить себе роскошь даром тратить слова. Я хотел только излагать факты. Я поставил себе недостижимую цель – вовсе не употреблять прилагательных. Мне казалось, что, если найти правильное слово, можно обойтись без эпитета. Книга моя представлялась мне в виде длинной телеграммы, в которой экономии ради опущены все слова, не абсолютно необходимые для передачи смысла. Я не перечитывал ее после того, как держал корректуру, и не знаю, в какой мере удалась моя попытка. Сколько помнится, написана эта книга, во всяком случае, более естественно, чем все, что я писал раньше; но я не сомневаюсь, что местами она сделана неряшливо и, вероятно, в ней немало грамматических ошибок.

С тех пор я написал еще много книг. И хотя я перестал систематически изучать старых мастеров (дух бодр, но плоть немощна!), но всегда и все более усердно старался писать как можно лучше. Я установил пределы своих возможностей и, как мне казалось, выбрал единственно разумный путь – стремиться к максимальному совершенству в этих пределах. Я уже знал, что не наделен лиризмом. Словарь мой был беден, и никакими усилиями я не мог существенно его расширить. Мне плохо давалась метафора; оригинальное, запоминающееся сравнение редко приходило мне в голову. Поэтические взлеты, широта воображения были мне не по силам. Я восхищался ими у других писателей, так же как их сложными тропами и необычным, полным недомолвок, языком, в который они облекали свои мысли; но собственный мой мозг не подсказывал мне таких прикрас, а я устал пытаться делать то, что не получалось у меня само собою. С другой стороны, я был наделен острой наблюдательностью, и мне казалось, что я вижу много такого, что ускользает от внимания других людей. Я умел ясно описать то, что видел. Я мыслил логично и если не обладал особым чутьем к изысканным, экзотическим словам, то, во всяком случае, способен был оценить звучание слова. Я знал, что никогда не буду писать так хорошо, как мне бы хотелось, но не терял надежды научиться писать настолько хорошо, насколько это возможно при моих природных недостатках. После долгих размышлений я решил, что мне следует стремиться к ясности, простоте и благозвучию. Порядок, в котором перечислены эти качества, отражает степень значения, какое я им придавал.

XI

Меня всегда раздражали писатели, которых можно понять только ценою больших усилий. Достаточно обратиться к великим философам, чтобы убедиться, что самые тонкие оттенки смысла можно выразить совершенно ясно. Я допускаю, что вам нелегко будет понять мысль Юма и, если у вас нет философской подготовки, вы, конечно, не уловите всех ее разветвлений; но значение каждой отдельной фразы поймет любой мало-мальски образованный человек. Редко кто писал по-английски так изящно, как Беркли. Писатели бывают непонятны по двум причинам: одни – по небрежности, другие – нарочно. Многие люди пишут непонятно, потому что не дали себе труда научиться писать ясно. Такую непонятность часто, слишком часто, встречаешь у современных философов, у ученых и даже у литературных критиков. Последнее воистину достойно удивления. Казалось бы, люди, всю жизнь изучающие великих мастеров литературы, должны быть достаточно восприимчивы к красоте языка, чтобы выражаться если не красиво, то хотя бы ясно. А между тем их труды пестрят фразами, которые нужно перечитывать и раз и другой, чтобы добраться до смысла. Подчас о нем можно только догадываться, потому что сказано у автора явно не то, что он хотел сказать.

А бывает, что автор и сам не уверен в том, что он хочет сказать. Он имеет об этом лишь смутное представление, которое либо не сумел, либо поленился ясно сформулировать в уме, а найти точное выражение для путаной мысли, разумеется, невозможно. Объясняется это отчасти тем, что писатели думают не до того, как писать, а в то время, как пишут. Перо порождает мысль. Опасность этого – и писатель всегда должен остерегаться ее – заключается в том, что написанное слово гипнотизирует. Мысль, облекшись в видимую форму, становится вещественной, и это мешает ее уточнению. Но такая неясность легко переходит в неясность нарочитую. Некоторые писатели, не умеющие четко мыслить, склонны считать свои мысли более значительными, чем это кажется с первого взгляда. Им лестно думать, что мысли их необычайно глубоки, а значит, их нельзя выразить так, чтобы они были понятны кому угодно. Таким писателям, конечно, не приходит в голову, что вся беда – в их неспособности к точному мышлению. И здесь опять действует гипноз написанного слова. Очень легко убедить себя, будто фраза, которую не вполне понимаешь, на самом деле сугубо значительна. А отсюда – один шаг до привычки закреплять свои впечатления на бумаге во всей их изначальной туманности. Всегда найдутся дураки, которые отыщут в них скрытый смысл. Другой вид нарочитой непонятности рядится в одежды аристократизма. Автор затуманивает свою мысль, чтобы сделать ее недоступной для толпы. Его душа – таинственный сад, куда могут проникнуть лишь избранные, если преодолеют целый ряд опасных препятствий. Но такая непонятность не только претенциозна, она еще и недальновидна. Ибо Время играет с ней странные шутки. Если в писаниях мало смысла, Время превращает их в совсем уже бессмысленный набор слов, которого никто не читает. Такая участь постигла ухищрения тех французских писателей, которых соблазнил пример Гийома Аполлинера. Бывает и так, что Время бросает резкий, холодный свет на то, что казалось глубоким, и тогда обнаруживается, что за языковыми вывертами прячутся весьма обыденные мысли. Стихи Малларме, за малыми исключениями, сейчас совершенно понятны; нельзя не заметить, что мысли его на редкость неоригинальны. У него есть красивые фразы; но материалом для его стихов служили поэтические трюизмы его времени.

XII

Простота – не столь очевидное достоинство, как ясность. Я всегда стремился к ней, потому что у меня нет таланта к пышности языка. До известного предела я восхищаюсь пышностью у других писателей, хотя в больших дозах мне трудно бывает ее переварить. Одну страницу Рескина я читаю с наслаждением, но после двадцати чувствую только усталость. Плавный период; полный достоинства эпитет; слово, богатое поэтическими ассоциациями; придаточные, от которых предложение обретает вес и торжественность; величавый ритм, как волна за волной в открытом море, – во всем этом, несомненно, есть что-то возвышающее. Слова, соединенные таким образом, поражают слух, как музыка. Впечатление получается скорее чувственное, чем интеллектуальное, красота звуков как будто освобождает от необходимости вдумываться в смысл. Но слова – великие деспоты, они существуют в силу своего смысла, и, отвлекшись от смысла, отвлекаешься от текста вообще. Мысли начинают разбегаться. Такая манера письма требует подобающей ей темы. Нельзя писать высоким слогом о пустяках. Никто не пользовался им с большим успехом, чем сэр Томас Браун, но и он не всегда избегал этой ловушки. Тема последней главы «Гидриотафии» («Погребения урн») – судьба человека – вполне соответствует пышному барокко языка, и здесь доктор из Норича создал страницы прозы, непревзойденные в нашей литературе; но когда он в той же пышной манере описывает, как были найдены его урны, эффект (по крайней мере на мой взгляд) получается менее удачный. Когда современный писатель в высокопарном стиле сообщает вам, как обыкновенная потаскушка юркнула или не юркнула под одеяло к ничем не примечательному молодому человеку, это вызывает у вас законное отвращение.

Но если для пышности слога нужен талант, которым наделен не всякий, простота – отнюдь не врожденное свойство. Чтобы добиться ее, необходима строжайшая дисциплина. Сколько мне известно, наш язык – единственный, в котором пришлось создать особое обозначение для определенного вида прозы – *purple patsh*. Не будь она столь характерной, в этом не было бы надобности. Английская проза скорее вычурна, чем проста. Но так было не всегда. Нет ничего более хлесткого, прямолинейного и живого, чем проза Шекспира; однако следует помнить, что это был диалог, рассчитанный на устную речь. Мы не знаем, как писал бы Шекспир, если бы он, подобно Корнелю, сочинял предисловия к своим пьесам. Возможно, они были бы столь же манерны, как письма королевы Елизаветы. Но более ранняя проза, например проза сэра Томаса Мора, не тяжеловесна, и не цветиста, и не выпренна. От нее отдает английской землей. Мне думается, что Библия короля Иакова оказала пагубное влияние на английскую прозу. Я не так глуп, чтобы отрицать ее красоту. Она величественна. Но Библия – восточная книга. Образность ее нам бесконечно далека. Эти гиперболы, эти сочные метафоры чужды нашему духу. На мой взгляд, не меньшим из зол, какие причинило духовной жизни в нашей стране отделение от римско-католической церкви, было то, что Библия надолго стала ежедневным, а нередко и единственным чтением англичан. Ее ритм, мощь ее словаря, ее высокопарность вошли в кровь и плоть нации. Простая, честная английская речь захлебнулась во всевозможных украшениях. Туповатые англичане вывихивали себе язык, стремясь выразиться, как иудейские пророки. Видимо, были для этого в английском характере какие-то данные: быть может, природная неспособность к точному мышлению, быть может, наивное пристрастие к красивым словам ради них самих или врожденная эксцентричность и любовь к затейливым узорам – не знаю; но верно одно: с тех самых пор английской прозе все время приходится бороться с тенденцией к излишествам. Если по временам исконный дух языка утверждал себя, как у Драйдена и у писателей царствования королевы Анны, его затем снова захлестывала помпезность Гиббона или доктора Джонсона. В работах Хэзлитта, в письмах Шелли, в лучших страницах Чарльза Лэма английская проза вновь обретала простоту – и вновь утра-

чивала ее в произведениях де Квинси, Карлейля, Мередита и Уолтера Патера. Высокий стиль, несомненно, поражает больше, чем простой. Мало того, многие считают, что стиль, который не привлекает внимания, – вообще не стиль. Такие люди восхищаются Уолтером Патером, но способны прочесть эссе Мэтью Арнольда и даже не заметить, как изящно, благородно и сдержанно он излагает свои мысли.

Хорошо известно изречение, что стиль – это человек. Афоризм этот говорит так много, что не значит почти ничего. Где мы видим Гёте-человека – в его грациозных лирических стихах или в его неуклюжей прозе? А Хэзлитта? Но я думаю, что если человек неясно мыслит, то он и писать будет неясно, если у него капризный нрав, то и проза его будет прихотлива, а если у него быстрый, подвижный ум и любой предмет напоминает ему о сотне других, то он, при отсутствии строгого самоконтроля, будет уснащать свой текст сравнениями и метафорами. Есть большая разница между велеречивостью писателей начала XVII века, которых опьяняли новые богатства, лишь недавно привнесенные в язык, и напыщенностью Гиббона и доктора Джонсона, которые были жертвой дурной теории. Каждое слово, написанное доктором Джонсоном, доставляет мне удовольствие, потому что он был остроумен, обаятелен и наделен здравым смыслом. Никто не мог бы писать лучше его, если бы он – вполне сознательно – не прибегал к высокому слогу. Он умел ценить хороший английский язык. Ни один критик не хвалил прозу Драйдена с таким знанием дела. Он сказал, что суть искусства Драйдена – находить ясное выражение для сильной мысли. А одно из своих «жизнеописаний» он закончил так: «Всем, кто хочет выработать себе английский слог, натуральный, но не грубый, и изящный, но не бьющий в глаза, должно посвятить дни и ночи томам>Addисона». Однако, когда он сам брался за перо, цель у него была иная. Высокопарность он принимал за благородство. Ему не хватало воспитания, чтобы понять, что первый признак благородства – это естественность и простота.

Ибо хорошая проза немыслима без воспитанности. В отличие от поэзии проза – упорядоченное искусство. Поэзия – это барокко. Барокко – трагичный, массивный, мистический стиль. Оно стихийно. Оно требует глубины и прозрения. Мне все кажется, что прозаики периода барокко – авторы Библии короля Иакова, сэр Томас Браун, Гленвиль – были заблудившимися поэтами. Проза – это рококо. Она требует не столько мощи, сколько вкуса, не столько вдохновения, сколько стройности, не столько величия, сколько четкости. Для поэта форма – это узда и мундштук, без которых вы не поедете верхом (если только вы не циркач); но для прозаика это – шасси, без которого ваша машина просто не существует. Не случайно, что лучшая проза была написана, когда рококо с его изяществом и умеренностью только еще родилось и находилось в самой совершенной своей поре. Ибо рококо возникло тогда, когда барокко выродилось в декламацию и мир, устав от грандиозного, взывал о сдержанности. Оно явилось естественным самовыражением для тех, кто ценил цивилизованную жизнь. Юмор, терпимость и здравый смысл сделали свое дело: большие, трагические проблемы, волновавшие первую половину XVII века, стали казаться чрезмерно раздутыми. Жить на свете сделалось удобнее и уютнее, и культурные классы, возможно впервые за много веков, могли спокойно посидеть и насладиться досугом. Говорят, что хорошая проза должна походить на беседу воспитанного человека. Беседа возможна лишь в том случае, если ум у людей свободен от насущных тревог. Жизнь их должна быть более или менее в безопасности, и душа не должна причинять им серьезных волнений. Они должны придавать значение утонченным благам цивилизации. Они должны ценить вежливость, заботиться о своей внешности (ведь говорят также, что хорошая проза должна быть как хорошо сшитый костюм – подходящей к случаю, но не кричащей), должны бояться наскучить другим, не должны быть ни слишком веселы, ни слишком серьезны, но всегда находить верный тон, а на «восторги» должны взирать критически. Вот это – почва, весьма благоприятная для прозы. Неудивительно, что она породила лучшего прозаика нашего современного мира – Вольтера. Английские писатели, может быть в силу поэтического характера своего языка, редко достигали того совершенства, которое ему словно бы давалось само

собой. И восхищения они заслуживают постольку, поскольку умели приблизиться к легкости, уравновешенности и точности великих французов.

XIII

Придавать ли цену благозвучию – третьему из упомянутых мною качеств, – это зависит от тонкости слуха. Очень многие читатели и многие прекрасные писатели лишены его. Поэты, как мы знаем, всегда широко пользовались аллитерацией. Они убеждены, что повторение звука создает красивый эффект. К прозе это, по-моему, не относится. Мне кажется, что в прозе к аллитерации можно прибегать только умышленно; случайная аллитерация режет ухо. Однако встречается она так часто, что остается лишь предположить, что неприятна она далеко не всем. Многие писатели совершенно спокойно ставят рядом два рифмующихся слова, предваряют чудовищно длинное существительное столь же длинным прилагательным или допускают в конце одного слова и в начале следующего такое скопление согласных, что язык сломается. Это – примеры банальные и очевидные. Я привел их лишь в доказательство того, что если такие вещи делают писатели, внимательно относящиеся к своему языку, значит, у них просто нет слуха. Слова имеют вес, звук и вид; только помня обо всех трех этих свойствах, можно написать фразу, приятную и для глаза, и для уха.

Я прочел много книг об английской прозе, но извлечь из них пользу оказалось нелегко; по большей части они расплывчаты, слишком теоретичны и зачастую недоброжелательны. Нельзя сказать того же о «Словаре живого английского языка» Фаулера. Это – ценный труд. Как бы хорошо человек ни писал, здесь он может найти для себя много полезного. Читать его интересно. Фаулер любил простоту, строгость и здравый смысл. Претенциозность его раздражала. Он держался здоровой точки зрения, что идиоматика – костяк языка, и высоко ценил хлесткие обороты. Он не грешил рабским преклонением перед логикой и всегда готов был проложить дорогу живому разговорному языку через слишком жесткие барьеры грамматики. Английская грамматика очень трудна, лишь немногие авторы пишут совсем без грамматических ошибок. Даже Генри Джеймс, писатель на редкость осмотрительный, подчас так пренебрегал грамматикой, что любой школьный учитель, найди он такие ошибки в сочинении школьника, преисполнился бы справедливого негодования. Знать грамматику нужно, и лучше писать без ошибок, чем с ошибками, но следует помнить, что грамматика – лишь повседневная речь, сведенная к правилам. Единственный критерий – это живой язык. Строго правильному обороту я всегда предпочту оборот легкий и естественный. Одно из различий между английским и французским языком состоит в том, что по-французски можно соблюдать правила грамматики, оставаясь естественным, а по-английски – далеко не всегда. Писать по-английски трудно потому, что звук живого голоса доминирует над видом напечатанного слова. Я много думал над вопросами стиля и положил на него много трудов. Я знаю, что среди написанных мною страниц мало таких, которые я не мог бы улучшить, и слишком много таких, на которые я махнул рукой, потому что не мог добиться лучшего, как ни старался. Я не могу сказать о себе того, что Джонсон сказал о Попе: «Он никогда не оставлял изъяна неисправленным от равнодушия, ниже проходил мимо него от отчаяния». Я пишу не так, как хочу; я пишу, как могу.

Но у Фаулера не было слуха. Он не понимал, что иногда простота должна отступать перед благозвучием. Я считаю, что несколько искусственное, или устарелое, или даже аффектированное слово вполне приемлемо, если оно звучит лучше, чем простое, «лежащее рядом», или придает фразе большую стройность. Но спешу оговориться: я считаю, что можно смело идти на такие уступки ради приятного звучания, но ни в коем случае и ни ради чего нельзя жертвовать ясностью выражения мысли. Нет ничего хуже, чем писать неясно. Против ясности нельзя привести никаких возражений, против простоты – лишь то, что она может обратиться в сухость. А на этот риск стоит идти, если вспомнить, насколько лучше быть лысым, нежели носить завитой парик. Но в благозвучии таится другая опасность: оно легко становится однообразным. Когда Джордж Мур начинал писать, язык его был беден; так и кажется, будто он писал тупым

карандашом на оберточной бумаге. Постепенно, однако, у него выработался очень музыкальный английский язык. Он научился делать фразы, завораживающие своей томной неторопливостью, и это ему так понравилось, что он уже не мог остановиться. Он не избежал однообразия. Строки его звучат, как волны, взбегающие на низкий каменистый берег, – они убаюкивают, и их быстро перестаешь замечать. Они так мелодичны, что вызывают смутную потребность чего-то поглубже, какого-то резкого диссонанса, который нарушил бы эту шелковистую гармонию. Как уберечься от этого – не знаю. Вероятно, единственное спасение в том, чтобы острее своих читателей реагировать на монотонность, тогда она надоест тебе раньше, чем им. Нужно все время остерегаться нарочитых приемов и, когда какая-нибудь ритмическая фигура слишком легко выходит из-под пера, спрашивать себя, не стала ли она получаться механически. Очень трудно уловить момент, когда отобранные тобою выразительные средства перестают давать нужный эффект. Как сказал доктор Джонсон: «Тот, кто однажды с великим прилежанием выработал свой стиль, редко пишет затем вполне непринужденно». Как ни замечательно стиль Мэтью Арнольда соответствовал его задачам, я должен сказать, что излюбленные его приемы часто меня раздражают. Его стиль – орудие, которое он выковал раз и навсегда, а не человеческая рука, способная выполнять множество разных действий.

Если б можно было писать ясно, просто, благозвучно и притом с живостью, это было бы совершенство: это значило бы писать, как Вольтер. А между тем мы знаем, как опасна погоня за живостью: она может привести к скучной акробатике Мередита. Маколей и Карлейль замечательны каждый по-своему, но лишь за счет драгоценного свойства – естественности. Их яркие эффекты мешают сосредоточиться. Они разрушают собственную убедительность; вы не поверили бы, что человек твердо намерен провести плугом борозду, если бы он таскал с собою обруч и на каждом шагу прыгал через него. Хороший стиль не должен хранить следа усилий. Написанное должно казаться счастливой случайностью. По-моему, никто во Франции не пишет лучше, чем Колетт, и звучит у нее все так легко, что невозможно поверить, будто это стоило ей какой-то работы. Говорят, есть пианисты, от рождения владеющие техникой, которой большинство исполнителей добивается неустанным трудом, и я готов поверить, что среди писателей тоже есть такие счастливицы. К ним я и склонен был причислить Колетт. Я спросил ее, верно ли это. К великому своему удивлению, я услышал в ответ, что она иногда целое утро работает над одной страницей. Но не важно, как достигается впечатление легкости. Я, например, если и достигаю его, то лишь ценой серьезных усилий. Редко когда верное и притом не искусственное и не банальное слово или оборот подвертываются мне сами собой.

XIV

Я где-то читал, что Анатолий Франс старался употреблять только словарь и конструкции писателей XVII столетия, которыми он так восхищался. Не знаю, так ли это. Если так, то этим, возможно, объясняется некоторый недостаток живости в его прекрасном и простом языке. Но простота фальшива, когда писатель не говорит того, что ему нужно сказать, лишь потому, что не может сказать это определенным образом. Писать нужно в манере своего времени. Язык живет и непрерывно изменяется; попытки писать, как в далеком прошлом, могут привести только к искусственности. Ради живости слога и приближения к современности я не колеблясь употребляю ходячее словечко, хотя и знаю, что мода на него скоро пройдет, или сленг, который через десять лет, вероятно, будет непонятен. Если общая форма достаточно строга, она выдержит умеренное использование языковых элементов, имеющих лишь местную или временную ценность. Вульгарного писателя я предпочитаю жеманному; ведь сама жизнь вульгарна, а он стремится изобразить жизнь.

Мне кажется, что мы, английские писатели, можем многому поучиться у наших американских собратьев. Ибо американская литература избежала деспотического влияния Библии короля Иакова и на американских писателей оказали меньшее воздействие старые мастера, чья манера писать стала частью нашей культуры. Выработывая свой стиль, они, может быть, бессознательно, больше равнялись на живую речь, звучавшую вокруг них; и в лучших своих образцах этот стиль отмечен прямоотой, жизненностью и силой, перед которыми наш, более культурный, кажется изнеженным. Американским писателям, из которых многие в тот или иной период были репортерами, пошло на пользу, что в своей газетной работе они пользовались более лаконичным, нервным и выразительным языком, чем это принято у нас. Мы сейчас читаем газеты так, как наши предки читали Библию. И это полезно: ведь газета, особенно дешевая, обогащает нас опытом, которым мы, писатели, не вправе пренебрегать. Это – сырье прямо с живодерни, и глупы мы будем, если вздумаем воротить от него нос, потому что оно, мол, пахнет кровью и потом. При всем желании мы не можем избежать воздействия этой будничной прозы. Но стилистически пресса того или иного периода очень однородна; похоже, словно всю ее пишет один человек; она безлична. Ее воздействию следует противопоставить чтение иного рода. Для этого есть один путь: непрерывно поддерживать связь с литературой другой, но не слишком отдаленной эпохи. Тогда у вас будет мерка, по которой проверять свой стиль, и идеал, к которому можно стремиться, оставаясь, однако современным. Для меня самыми полезными в этом смысле писателями оказались Хэзлитт и кардинал Ньюмен. Я не пытался им подражать. Хэзлитт бывает излишне риторичен, и красоты его порой тривиальны, как викторианская готика. Ньюмен бывает не в меру цветист. Но в лучших своих страницах оба превосходны. Время мало коснулось их языка – это язык почти современный. Хэзлитт пишет ярко, бодро, энергично; он полон жизни и силы. В его фразах чувствуется человек – не тот мелочный, сварливый, неприятный человек, каким он казался знавшим его, но внутреннее его «я», видимое лишь ему самому. (А ведь наше внутреннее «я» не менее реально, чем тот жалкий, спотыкающийся человек, которого видят другие.) Ньюмен – это грация, музыка – то легкая, то серьезная, – это чарующая красота языка, благородство и мягкость. И тот и другой писали ясно до предела. Оба, на самый строгий вкус, недостаточно просты. В этом они, мне кажется, уступают Мэтью Арнольду. Оба писали удивительно стройными фразами, и оба умели писать приятно для глаза. У обоих был очень тонкий слух.

Тот, кто сочетал бы их достоинства с современной манерой, писал бы так хорошо, как только возможно писать.

XV

Время от времени я задаю себе вопрос: лучше или нет я писал бы, если бы посвятил литературе всю жизнь? Еще очень давно, не помню точно, в каком возрасте, я решил, что, поскольку жизнь у меня одна, я должен взять от нее все, что можно. Мне казалось, что только писать – это мало. Я задумал составить программу своей жизни, в которой писательство заняло бы важнейшее место, но которая включила бы и все другие виды человеческой деятельности и которую в конце концов дополнила бы и завершила смерть. Мне многого не доставало. Я был мал ростом; вынослив, но не силен физически; я заикался, был застенчив и слаб здоровьем. У меня не было склонности к спорту, который занимает столь важное место в жизни англичан; и – то ли по одной из этих причин, то ли от рождения – я инстинктивно сторонился людей, что мешало мне с ними сходиться. В разное время я любил отдельных людей; но к людям вообще никогда не чувствовал особой симпатии. Я лишен той располагающей общительности, которая позволяет с первого же знакомства завязывать дружбу. С годами я научился изображать сердечность при вынужденном контакте с посторонними, но никто никогда мне не нравился с первого взгляда. Кажется, ни разу в жизни я не заговаривал с незнакомыми людьми в вагоне или на пароходе. Из-за плохого здоровья я не мог общаться с себе подобными на почве алкоголя: задолго до того, как я мог бы достигнуть той степени опьянения, когда для многих, более удачливых, все люди становятся братьями, желудок мой восставал, и меня начинало немилосердно тошнить. Все это – серьезные помехи и для человека, и для писателя. Пришлось с ними как-то справляться. Я упорно следовал своей программе. Вероятно, она была весьма несовершенна, но думаю, что на большее я не мог рассчитывать в данных обстоятельствах и при очень ограниченных возможностях, которые были отпущены мне природой.

Аристотель, пытаясь определить, какая функция свойственна только человеку, решил, что поскольку он способен к росту, как растения, и к чувствованию, как животные, но, кроме того, наделен разумом, значит, его специфическая функция – деятельность души. Из этого он заключил, что человеку следует развивать не все эти три формы деятельности (что было бы логично), но лишь ту, которая присуща ему одному. Философы и моралисты всегда относились к телу с недоверием. Они указывали, что физические наслаждения преходящи. Но наслаждение – все равно наслаждение, даже если оно не длится вечно. В жаркий день приятно окунуться в холодную воду, хотя через минуту тело уже перестает ощущать холод. Ведь белое со временем не становится белее. В ту пору я считал частью своей программы испытать все удовольствия, какие доставляют нам чувства. Я не боялся излишеств – сплошь и рядом они нас подстегивают. Они не дают умеренности превратиться в скучную привычку. Они тонизируют организм и успокаивают нервы. Нередко дух свободнее всего тогда, когда тело пресыщено наслаждением; так звезды кажутся ярче, если смотреть на них не с вершины холма, а из сточной канавы. Самое острое из чувственных наслаждений – это физическая любовь. Я знал мужчин, посвящавших ей всю жизнь; теперь это старики, но они считают, как я не без удивления замечал, что жизнь свою прожили с толком. Сам я из-за врожденной привередливости, к сожалению, испытал этих радостей меньше, чем мог бы. Я проявлял умеренность, потому что на меня трудно угодить. Бывало, что при виде тех, с кем удовлетворяли свои желания великие любовники, я больше дивился их всеядности, нежели завидовал их успехам. Ясно, что человеку не часто придется голодать, если он готов обедать бараньим рагу и пареной репой.

Большинство людей живут от случая к случаю – носятся по воле ветра. Многих среда, окружавшая их с детства, и необходимость зарабатывать на жизнь заставляют идти прямой дорогой, с которой не свернешь ни вправо, ни влево. Им программа навязана извне, самой жизнью. Она вполне может оказаться такой же полной, как и та, которую человек разрабатывает сознательно. Но у художника положение особое. Я пользуюсь словом «художник» не для

того, чтобы подчеркнуть особую ценность его продукции, но просто для обозначения человека, занимающегося искусством. Лучшего слова я не нашел. Творец – претенциозно и как бы предполагает оригинальность, которая на самом деле обычно отсутствует. Мастер – недостаточно. Плотник тоже мастер, и хотя в узком смысле слова он может быть художником, он, как правило, не имеет той свободы действий, какой пользуется самый безграмотный писака, самый бездарный мазилка. В известных пределах художник может распорядиться своей жизнью, как захочет. Что касается других профессий, например врача или юриста, вы вольны остановить или не остановить на них свой выбор, но, раз выбрав, вы уже не свободны. Вы связаны законами своей профессии, вынуждены соблюдать те или иные правила поведения. Программа ваша предопределена. Только художник да еще, пожалуй, преступник может составить ее сам.

Наметить себе программу жизни еще в юности меня заставила, быть может, врожденная методичность, а быть может, нечто, что я открыл в себе и о чем речь пойдет ниже. У такой затеи есть изъян – она может убить непосредственность. Одно из существенных различий между живыми людьми и литературными персонажами состоит в том, что живые люди – создания импульсивные. Кто-то сказал, что быть метафизиком – значит находить неубедительные причины для того, во что мы верим инстинктивно; с тем же успехом можно сказать, что в жизни мы пользуемся своей способностью рассуждать, чтобы оправдывать поступки, которые совершаем потому, что нам так хочется. И не противиться импульсам тоже входит в программу. Мне кажется, у такой программы есть более серьезный изъян: она заставляет слишком много жить в будущем. Я давно знаю за собой этот недостаток и старался от него избавиться, но безуспешно. Никогда, разве что сознательным усилием воли, я не просил мгновение помедлить, чтобы я мог полнее им насладиться, потому что, даже когда оно приносило мне что-то, чего я очень, очень ждал и хотел, воображение мое сразу же переносилось к проблематичным радостям будущего. Всякий раз, как я шел по южной стороне Пикадилли, мне страшно хотелось знать, что происходит на северной. Это – безумие. Миг настоящего – это все, в чем мы можем быть уверены; как же не извлечь из него всю возможную ценность? Будущее в свое время станет настоящим и покажется столь же неинтересным, как настоящее кажется сейчас. Но такие здравые соображения мне не помогают. Я не жалею о настоящем, я просто принимаю его. Оно – часть программы, но интересует меня то, чего еще нет.

Я наделал немало ошибок. Временами я попадал в ловушку, которая подстерегает всякого писателя, – у меня являлось желание самому совершить некоторые поступки, которые я заставлял совершать вымышленных мною героев. Я пытался делать вещи, по природе мне несвойственные, и упорствовал, из тщеславия отказываясь признать себя побежденным. Я слишком считался с чужим мнением. Я шел на жертвы ради недостойных целей, потому что у меня не хватало смелости причинить боль. Я совершал безрассудства. У меня беспокойная совесть, и некоторые свои поступки я не в состоянии окончательно забыть. Если бы мне выпало счастье быть католиком, я мог бы освободиться от них на исповеди и, отбыв наложенную на меня епитимью, получить отпущение и раз навсегда выкинуть их из головы. Но мне пришлось обходиться здравым смыслом. Я не жалею о прошлом: мне думается, что на собственных серьезных проступках я научился снисходительности к людям. Это потребовало долгого времени. В молодости я был жестоко нетерпим. Помню, как возмутило меня чье-то замечание (отнюдь не оригинальное, но для меня в то время новое), что лицемерие – это дань, которую порок платит добродетели. Я считал, что скрывать свои пороки не следует. У меня были высокие идеалы честности, неподкупности, правдивости. Меня бесила не человеческая слабость, а трусость, и я был беспощаден ко всяким обинякам и уверткам. Мне и в голову не приходило, что никто так не нуждается в снисходительности, как я.

XVI

На первый взгляд странно, что собственные проступки кажутся нам настолько менее предосудительными, чем чужие. Вероятно, это объясняется тем, что мы знаем все обстоятельства, вызвавшие их, и поэтому прощаем себе то, чего не прощаем другим. Мы стараемся не думать о своих недостатках, а когда бываем к тому вынуждены, легко находим для них оправдания. Скорее всего так и следует делать: ведь недостатки – часть нашей натуры, и мы должны принимать плохое в себе наряду с хорошим. Но других мы судим, исходя не из того, какие мы есть, а из некоего представления о себе, которое мы создали, исключив из него все, что уязвляет наше самолюбие или уронило бы нас в глазах света. Возьмем самый элементарный пример: мы негодуем, уличив кого-нибудь во лжи; но кто из нас не лгал, и притом сотни раз? Мы огорчаемся, обнаружив, что великие люди были слабы и мелочны, нечестны или себялюбивы, развратны, тщеславны или неводержанны; и многие считают непозволительным открывать публике глаза на недостатки ее кумиров. Я не вижу особой разницы между людьми. Все они – смесь из великого и мелкого, из добродетелей и пороков, из благородства и низости. У иных больше силы характера или больше возможностей, поэтому они могут дать больше воли тем или иным своим инстинктам, но потенциально все они одинаковы. Сам я не считаю себя ни лучше, ни хуже большинства людей, но я знаю, что, расскажи я о всех поступках, какие совершил в жизни, и о всех мыслях, какие рождались у меня в мозгу, меня сочли бы чудовищем.

Мне непонятно, как у людей хватает духу осуждать других, когда им стоит только оглянуться на собственные мысли. Немалую часть своей жизни мы проводим в мечтах, и чем богаче у нас воображение, тем они разнообразнее и ярче. Многие ли из нас захотели бы увидеть свои мечты механически записанными? Да мы бы сгорели от стыда. Мы возопили бы, что не могли мы быть так подлы, так злы, так мелочны, так похотливы, лицемерны, тщеславны, сентиментальны. А между тем наши мечты – такая же часть нас самих, как и наши поступки, и, будь наши сокровенные мысли кому-нибудь известны, мы бы и отвечать за них должны были в равной мере. Люди забывают, какие отвратительные мысли порою приходят им в голову, и возмущаются, обнаружив их у других. Гёте рассказывает в своей «Поэзии и правде», как в юности ему претила мысль, что отец его – всего-навсего франкфуртский бюргер и стряпчий. Он чувствовал, что в жилах его течет голубая кровь. И вот он пытался убедить себя, что какой-нибудь князь, проездом во Франкфурте, встретил и полюбил его мать и что он – плод этого союза. Редактор того издания, которое я читал, снабдил это место негодующим примечанием. Он решил, что недостойно великого поэта было бросить тень на всем известную добродетель своей матери ради снобистского удовольствия выставить себя незаконнорожденным аристократом. Конечно, Гёте поступил по-свински, но в этом не было ничего неестественного, скажу больше – ничего из ряда вон выходящего. Вероятно, почти всякий романтически настроенный, строптивый и мечтательный мальчишка носился с мыслью, что он не может быть сыном своего скучного, почтенного папаши, а свое воображаемое превосходство объяснял, смотря по личным склонностям, происхождением от какого-нибудь венценосца, государственного деятеля или безвестного поэта. Олимпийство позднего Гёте преисполняет меня глубокого уважения; это же признание будит более теплые чувства. Человек остается человеком, даже если пишет великие произведения.

Надо полагать, что именно такие бесстыдные, безобразные, подлые и эгоистичные мысли неотступно мучили святых, уже после того, как они посвятили свою жизнь добрым делам и покаянием смыли грехи прошлого. Святой Игнатий Лойола, как известно, отправился в обитель Монсеррат, исповедался там и получил отпущение грехов; но сознание собственной греховности по-прежнему его терзало, так что он готов был покончить с собой. До своего обращения он вел жизнь, обычную для знатного молодого человека того времени. Он немного кичился

своей внешностью, знался с женщинами, играл в кости; но по меньшей мере один раз проявил редкое великодушие и всегда был честен, добр и смел. А душевного покоя он не обрел потому, что не мог простить себе своих мыслей. Приятно было бы знать наверняка, что даже святые не избежали этой участи. Глядя на великих мира сего, как они выступают в своей официальной роли, такие праведные, полные достоинства, я часто спрашивал себя, помнят ли они в эти минуты, о чем иногда думают наедине, и не смущает ли их порою мысль о тайнах, которые кроются за их сублимированным обликом. Зная, что тайные мысли свойственны всем людям, мы, по-моему, должны быть очень терпимы и к себе, и к другим. А кроме того, к своим близким, даже самым знаменитым и респектабельным, лучше относиться с юмором, да и самих себя не принимать слишком всерьез. Слушая, как елейно читает мораль какой-нибудь судья в суде Олд-Бейли, я спрашивал себя, неужели он забыл свою человеческую сущность так основательно, как это явствует из его слов? И у меня возникало желание, чтобы возле его милости рядом с букетом цветов лежала пачка туалетной бумаги. Это напоминало бы ему, что он – такой же человек, как все.

XVII

Меня часто называют циником. Меня обвиняют в том, что в своих книгах я делаю людей хуже, чем они есть на самом деле. По-моему, я в этом неповинен. Я просто выявляю некоторые их черты, на которые многие писатели закрывают глаза. На мой взгляд, самое характерное в людях – это непоследовательность. Я не помню, чтобы когда-нибудь видел цельную личность. Меня и сейчас поражает, какие, казалось бы, несовместимые черты уживаются в человеке и даже производят в совокупности впечатление гармонии. Я часто задумывался над этим. Я знал мошенников, способных жертвовать собой, воришек с ангельским характером и проституток, почитавших делом чести на совесть обслуживать клиентов. Объяснить это я могу только тем, что в глубине души каждый человек твердо убежден в своей исключительности, а потому считает для себя не то чтобы естественным и правильным, но, во всяком случае, прощательным то, что для других может быть и не дозволено. Контрасты, которые я наблюдал в людях, интересовали меня, но мне не кажется, что я отводил им неправомерно большое место. Строгая критика, которой я время от времени подвергался, была, возможно, вызвана тем, что я не осуждал своих персонажей за то, что в них было плохого, и не хвалил за хорошее. Пусть это очень дурно, но я неспособен серьезно возмущаться чужими грехами, если только они не касаются меня лично, да и тогда тоже. Я наконец научился прощать все и всем. Не надо ждать от людей слишком многого. Будь благодарен за хорошее обращение, но не сетуй на плохое. «Ибо каждого из нас, – как сказал Афинский Незнакомец, – сделало тем, что он есть, направление его желаний и природа его души». Только недостаток воображения мешает увидеть вещи с какой-либо точки зрения, кроме своей собственной, и неразумно сердиться на людей за то, что они его лишены.

По-моему, я действительно заслуживал бы порицания, если бы видел в людях только недостатки и был слеп к их достоинствам. Но это, мне думается, не так. Нет ничего прекраснее, чем доброта, и я часто с удовольствием показывал, как много ее в таких людях, которых следовало бы беспощадно осудить, если подходить к ним с обычной меркой. А показывал я ее потому, что видел. Порою мне казалось, что именно в таких людях она светит ярче среди окружающей ее тьмы греха. Доброту праведных людей я принимаю как должное, в них мне забавно находить недостатки или пороки; но доброта грешников меня трогает, и я всегда готов снисходительно пожать плечами на проявления их греховности. Я не сторож брату моему. Я не могу заставить себя судить своих ближних; хватит с меня того, что я их наблюдаю. И мои наблюдения убедили меня в том, что на поверку между добрыми и злыми нет такой большой разницы, как пытаются нам внушить моралисты.

Я не сужу о человеке по первому впечатлению. Возможно, что умение пристально всматриваться в людей я унаследовал от своих предков; навряд ли они могли бы стать хорошими юристами, если бы не обладали известной остротой ума и позволяли сбить себя с толку обманчивой внешностью. А может быть, мне, в отличие от многих, недоступны вспышки радостных чувств при встрече с каждым новым человеком, от которых глаза застилает розовым туманом. Безусловно, здесь сыграло роль то, что я получил медицинское образование. Я не хотел быть врачом. Я хотел быть только писателем, но был слишком робок, чтобы заявить об этом. К тому же в те времена это было неслыханное дело, чтобы восемнадцатилетний мальчик из хорошей семьи стал профессиональным литератором. Самая эта мысль была так несурозна, что я даже не пробовал с кем-нибудь ею поделиться. Я всегда думал, что пойду по юридической части, но три моих брата, все намного старше меня, уже были юристами, и для меня, так сказать, не осталось места.

XVIII

В школе я проучился недолго. Три безрадостных года я провел в начальной школе в Кентерберии, в которую меня отдали после смерти отца, потому что оттуда было всего шесть миль до Уитстебля, где мой дядя и опекун был викарием. Это был филиал старинной Королевской школы, куда я и перешел, когда мне исполнилось тринадцать лет. Выбравшись из младших классов, где учителя были грубые тираны, я вполне примирился со школой и был страшно огорчен, когда из-за болезни мне пришлось провести целый триместр на юге Франции. Моя мать и ее единственная сестра умерли от туберкулеза, поэтому, когда выяснилось, что у меня слабые легкие, дядя с теткой забеспокоились. В Йере мне давал уроки частный преподаватель. Вернувшись в Кентерберии, я как-то не нашел себе там места. У моих друзей появились новые друзья. Я оказался один. В мое отсутствие меня перевели в следующий класс, и мне после трехмесячного перерыва было трудно там учиться. Классный наставник придирался ко мне. Я убедил дядю, что для моих легких будет очень полезно, если я, вместо того чтобы оставаться в школе, проведу ближайшую зиму на Ривьере, а после этого мне стоит пожить в Германии – изучить немецкий язык. Тем временем я буду продолжать заниматься предметами, которые нужны для поступления в Кембридж. Дядя был слабовольный человек, а доводы мои казались серьезными. Меня он недолюбливал, за что я его совсем не виню, потому что я, сколько могу судить, не был симпатичным мальчиком; а так как деньги на мое образование тратились мои собственные, он был вполне готов предоставить мне свободу действий. Тетка же горячо сочувствовала моим планам. Она сама была из немецкой семьи, очень бедной, но родовитой; у них имелся замысловатый фамильный герб с щитодержателями, которым она очень гордилась. В другом месте я рассказал, как она, будучи всего лишь женою бедного священника, не пожелала нанести визит жене богача-банкира, снявшего на лето дом по соседству, – а все потому, что он занимался коммерцией. Она-то и устроила меня в семейный пансион в Гейдельберге, о котором слышала от своих мюнхенских родичей.

Но когда я восемнадцати лет возвратился из Германии, у меня уже сложились весьма определенные взгляды касательно моего будущего. За границей мне жилось лучше, чем когда-либо раньше. Впервые я отведал свободы, и самая мысль о Кембридже, где пришлось бы снова ее лишиться, была для меня невыносима. Я чувствовал себя взрослым, и мне не терпелось вступить в жизнь. Я чувствовал, что нельзя терять ни минуты. Дядя мой лелеял надежду, что я стану священником, хотя ему следовало бы понять, что, поскольку я заикался, это была самая неподходящая для меня профессия; но когда я сказал ему, что не хочу поступать в Кембридж, он принял это со своим обычным равнодушием. Я еще помню, какие глупейшие разговоры велись по поводу моего будущего. Так, кто-то подал мысль, что мне следует поступить на государственную службу, и дядя в письме к своему старому приятелю по Оксфорду, занимавшему важный пост в министерстве внутренних дел, спросил его совета на этот счет. Приятель ответил, что теперь, когда введена система экзаменов и соответственно расширилась категория лиц, попадающих на государственную службу, это неподходящее поприще для джентльмена. Вопрос отпал. В конце концов было решено, что я стану врачом.

Медицина меня не интересовала, но она давала мне возможность жить в Лондоне, окунуться в настоящую жизнь, о чем я так мечтал. Осенью 1892 года я поступил в медицинскую школу при больнице св. Фомы. Первые два курса показались мне скучными, и я уделял занятиям ровно столько внимания, сколько требовалось, чтобы кое-как сдавать экзамены. Я был очень неважным студентом. Но свободу я себе отвоевал. Мне нравилось, что у меня своя комната, где я могу быть один; я старался обставить ее красиво и уютно. Все свободное время, а также большую часть времени, которое мне следовало бы посвящать занятиям медициной, я читал и писал. Читал я запоем и списывал бесконечные тетради сюжетами для рассказов и

пес, отрывками диалогов и рассуждениями, весьма наивными, по поводу прочитанных книг и собственных переживаний. В жизни больницы я почти не участвовал, почти ни с кем из студентов не дружил – я был занят другим. Но на третьем курсе началась работа в амбулатории, и это меня заинтересовало. А потом я стал куратором в стационаре, и тут интерес мой возрос настолько, что, когда я однажды на вскрытии не в меру разложившегося трупа схватил септический тонзиллит и слег, я буквально не мог дожидаться дня, когда смогу вернуться к работе. Чтобы получить диплом, я должен был принять известное количество родов, а это означало походы в трущобы Ламбета – подчас в грязные, зловонные дворы, куда не решалась заглядывать полиция, но где мой черный чемоданчик служил надежной защитой; эта работа меня захватила. Одно время я день и ночь работал в «Скорой помощи», что было очень утомительно, однако увлекло меня чрезвычайно.

XIX

Да, здесь было то, что больше всего меня влекло, — жизнь в самом неприкрашенном виде. За эти три года я, вероятно, был свидетелем всех эмоций, на какие способен человек. Это разжигало мой инстинкт драматурга, волновало во мне писателя. Еще сейчас, спустя сорок лет, я помню некоторых людей так отчетливо, что мог бы нарисовать их портрет. Фразы, услышанные в то время, до сих пор звучат у меня в ушах. Я видел, как люди умирали. Видел, как они переносили боль. Видел, как выглядит надежда, страх, облегчение, видел черные тени, какие кладет на лица отчаяние; видел мужество и стойкость. Я видел, как вера сияла в глазах людей, уповавших на то, что сам я считал лишь иллюзией, и видел, как человек встречал свой смертный приговор иронической шуткой, потому что из гордости не мог допустить, чтобы окружающие увидели ужас, охвативший его душу.

В то время (а это было время, когда многие жили, не зная нужды, когда мир казался прочным и безопасностью — обеспеченной) имелась группа писателей, воспевавших моральную ценность страдания. Они утверждали, что страдание целительно. Что оно усиливает сочувствие и обостряет впечатлительность. Что оно открывает новые просторы для духа и дает ему соприкоснуться с мистическим царством божьим. Что оно укрепляет характер, очищает его от грубости и тому, кто не бежит страдания, а ищет его, приносит более совершенное счастье. Несколько книг на эту тему имели большой успех, и авторы их, жившие в комфортабельных домах, сытно питавшиеся три раза в день и пребывавшие в завидном здоровье, пользовались широкой известностью. В своих тетрадях я не раз и не два, а десятки раз записывал факты, которые видел своими глазами. Я знал, что страдание не облагораживает: оно портит человека. Под действием его люди становятся себялюбивыми, подленькими, мелочными, подозрительными. Они дают поглотить себя пустякам. Они приближаются не к богу, а к зверю. И я со злостью писал, что резиняции мы учимся не на своих страданиях, а на чужих.

Все это было для меня ценнейшим опытом. Я не знаю лучшей школы для писателя, чем работа врача. Вероятно, и в конторе адвоката можно немало узнать о человеческой природе; но там, как правило, имеешь дело с людьми вполне владеющими собой. Лгут они, возможно, столько же, сколько лгут врачу, но более последовательно, и адвокату, может быть, не так необходимо знать правду. К тому же он обычно занимается материальными вопросами. Он видит человеческую природу со специфической точки зрения. Врач же, особенно больничный врач, видит ее без всяких покровов. Скрытность обычно удается сломить; очень часто ее и не бывает. Страх в большинстве случаев разбивает все защитные барьеры; даже тщеславие перед ним пасует. Почти все люди обожают говорить о себе, и мешает им только то обстоятельство, что другие не хотят их слушать. Сдержанность — искусственное качество, которое развивается у большинства из нас лишь в результате несчастных осечек. Врач умеет хранить тайны. Его дело — слушать, и нет тех подробностей, которые были бы слишком интимны для его ушей.

Но, разумеется, может быть и так, что человеческая природа перед вами как на ладони, а вы не имеете глаз, чтобы видеть, и ничего не узнаете. Если вы скованы предрассудками, если вы человек сентиментального склада, то, сколько бы вы ни ходили по больничным палатам, опыт ваш от этого не обогатится. Чтобы такая затея удалась, нужен непредубежденный ум и большой интерес к людям. Я считаю, что мне очень повезло: хотя я никогда особенно не любил людей, они меня так интересуют, что, кажется, неспособны мне надоесть. Я не большой любитель говорить и всегда готов слушать. Мне все равно, интересуются мною другие или нет. Я не жажду делиться с людьми своими знаниями и не чувствую потребности поправлять их, если они ошибаются. Скучные люди могут быть очень занимательны, если умеешь держать себя в руках. Помню, как за границей одна добрейшая дама повезла меня кататься — смотреть окрестности. Разговор ее состоял из одних трюизмов, и она употребляла избитые фразы в таком

количестве, что я отчаялся их запомнить. Но одно ее замечание засело у меня в памяти, как бывает с исключительно удачными остротами. Мы проезжали мимо домиков, выстроившихся в ряд на берегу моря, и она сказала: «Это – бунгало для воскресного отдыха, вы понимаете... другими словами, это бунгало, куда приезжают отдыхать на воскресенье». Не услышать этого было бы для меня большой потерей.

У меня нет желания проводить слишком много времени со скучными людьми, но и с занятыми людьми тоже. Светское общение меня утомляет. Очень многие находят в беседе и развлечение, и отдых. Мне она всегда стоит усилий. В молодости, когда я заикался, долгий разговор меня просто выматывал, и даже теперь, хотя я в большой мере излечился, это для меня трудное дело. Я испытываю облегчение, когда могу уйти куда-нибудь и спокойно почитать.

XX

Я отнюдь не имею в виду, что за годы, проведенные в больнице св. Фомы, до конца постиг человеческую природу. Едва ли кто может на это претендовать. Я изучал ее, сознательно и бессознательно, в течение сорока лет, но и сейчас люди для меня – загадка. Даже близко знакомый мне человек может удивить меня поступком, на который я не считал его способным, или проявлением такой черты характера, какой я в нем и не подозревал. Возможно, что представление о людях у меня сложилось несколько однобокое, поскольку в больнице св. Фомы я соприкасался главным образом с людьми больными, бедными и необразованными. Я по мере сил остерегался этого. Остерегался по мере сил и собственной предвзятости. У меня нет врожденной веры в людей. Я склонен ожидать от них скорее дурного, чем хорошего. Это – цена, которую приходится платить за чувство юмора. Обладая чувством юмора, находишь удовольствие в капризах человеческой природы; не слишком доверяешь благородным декларациям, всегда доискиваясь недостойных мотивов, которые за ними скрываются; несоответствие между видимостью и действительностью развлекает, и там, где не удастся его найти, подмывает его создать. Порою закрываешь глаза на истину, добро и красоту, потому что они дают мало пищи чувству смешного. Юморист незамедлительно приметит шарлатана, но не всегда распознает святого. Но если односторонний взгляд на людей – дорогая плата за чувство юмора, зато в нем есть и ценная сторона. Когда смеешься над людьми, на них не сердишься. Юмор учит терпимости, и юморист – когда с улыбкой, а когда и со вздохом – скорей пожмет плечами, чем осудит. Он не читает морали, ему достаточно понять; а ведь недаром сказано, что понять – значит пожалеть и простить.

Однако с этими оговорками, о которых я стараюсь не забывать, я утверждаю, что опыт всей последующей жизни только подтвердил наблюдения над человеческой природой, которые я – по молодости лет еще бессознательно – делал в амбулаториях и палатах больницы св. Фомы. Я вижу людей так же, как видел тогда, и такими их рисую. Может быть, изображение получается неправильное; многие, я знаю, находят его неприятным. Разумеется, оно предвзято, поскольку я, естественно, смотрю на людей сквозь призму собственного характера. Экспансивный, здоровый, чувствительный оптимист увидел бы тех же людей совсем по-другому. Я могу только сказать, что видел их отчетливо. Многие писатели, как мне кажется, совсем не наблюдают, а персонажей своих создают стандартных размеров и по образцам, которые сами же выдумывают. Они – как те рисовальщики, что копируют слепки с античных скульптур и никогда не пытаются рисовать живую натуру. В лучшем случае они могут придать видимость жизни порождениям собственного ума. Если ум у них возвышенный, им порой удастся создать возвышенные образы, и тогда, пожалуй, не так уж важно, что в этих образах не отражена бесконечная сложность повседневной жизни.

Я всегда писал с живой натуры. Помню, как однажды на занятиях по анатомии руководитель спросил меня название какого-то нерва, и я не мог ответить. Он мне сказал; я стал спорить, потому что нерв находился не там, где ему полагалось. Он же настаивал, что это тот самый нерв, который я тщетно искал. Я возмущился такой ненормальностью, на что он с улыбкой заметил, что в анатомии необычна скорее норма. В то время это меня только разозлило, но слова его запали мне в память, а позднее я пришел к выводу, что их можно отнести не только к анатомии, но и к человеку вообще. Норма – это то, что встречается лишь изредка. Норма – это идеал. Это портрет, который складывают из характерных черточек отдельных людей, а ведь трудно ожидать, что все эти черты могут соединиться в одном человеке. Вот такие-то фальшивые портреты и берут за образец писатели, о которых я говорил, и оттого, что они берут явления столь исключительные, они редко добиваются впечатления правды. Эгоизм и добросердечность, высокие порывы и чувственность, тщеславие, робость, бескорыстие, мужество,

лень, нервность, упрямство, неуверенность в себе – все это уживается в одном человеке, не создавая особой дисгармонии. Понадобилось немало времени, чтобы убедить в этом читателя.

Не думаю, чтобы в прошедшие века люди отличались от нынешних, но своим современникам они, по всей вероятности, казались более цельными, иначе писатели не стали бы изображать их такими. «Всяк в своем нраве» – это казалось вполне естественным. Скупец был только скуп, щеголь – щеголеват, обжора – обжорлив. Никому не приходило в голову, что скупец может быть щеголеват и обжорлив, – а между тем мы сплошь и рядом встречаем таких людей, – и уж подавно, что он может быть честным человеком, бескорыстно служить обществу и искренне увлекаться искусством. Когда писатели начали изображать пестроту, которую они обнаруживали в самих себе или в других, их обвинили в клевете на человечество. Насколько я знаю, первым, кто сознательно пошел на это, был Стендаль. Роман «Красное и черное» был встречен современной критикой в штыки. Даже Сент-Бёв отнесся к нему весьма строго, хотя ему достаточно было заглянуть в собственное сердце, чтобы увидеть, сколь противоречивые свойства уживаются в человеке. Жюльен Сорель – один из самых интересных характеров во всей литературе. На мой взгляд, Стендалю не удалось сделать его вполне правдоподобным, но это, вероятно, вызвано причинами, о которых речь пойдет в своем месте. На протяжении первых трех четвертей романа он вполне достоверен. Иногда он внушает отвращение, иногда сочувствие; но во всем этом есть внутренняя связность, так что, даже содрогаясь, приемлешь.

Но у Стендаля не скоро нашлись последователи. Бальзак при всей своей гениальности лепил свои характеры по старым образцам. Он вдохнул в них собственную невероятную жизненность, поэтому их принимаешь как живых людей; однако на самом деле это – «нравы», такие же, как в старинных комедиях. Персонажи его незабываемы, но каждый из них дан с точки зрения своей доминирующей страсти, которая поражала тех, с кем он соприкасался. Вероятно, людям свойственно воспринимать своих ближних так, словно они являют собой нечто однородное. Конечно же, куда проще сразу составить себе мнение о человеке и, чтобы не думать долго, наклеить на него ярлык «молодчина» или «мерзавец». Не очень-то приятно узнать, что спаситель отечества – скряга или что поэт, открывший нам новые горизонты, – сноб. Из врожденного эгоизма мы судим о людях по той их стороне, которая повернута к нам самим. Мы хотим, чтобы они были такими-то и такими-то – для нас; и такими они для нас и будут; остальное, что в них есть, нам не нужно, и мы его игнорируем.

Этими причинами, пожалуй, и можно объяснить, почему так холодно принимаются попытки изобразить человека во всем многообразии его, казалось бы, несовместимых качеств и почему люди в испуге отворачиваются, когда простосердечные биографы обнародуют правду о великих мира сего. Печально думать о том, что человек, написавший квинтет в «Мейстерзингерах», был не честен в денежных делах и вероломен по отношению к тем, кто оказывал ему помощь. Но возможно, что, не будь у него больших недостатков, у него не было бы и больших достоинств. Я не согласен с мнением, что нужно закрывать глаза на пороки знаменитых людей; по-моему, лучше, чтобы мы о них знали: тогда, помня, что мы не менее их порочны, мы все же можем верить, что и добродетели их для нас достижимы.

XXI

Медицинское образование не только помогло мне вникнуть в человеческую природу – оно дало мне элементарные научные знания и понятие о научном методе. До того я занимался только искусством и литературой. Новые мои познания были невелики, в соответствии с тогдашней, более чем скромной программой, но все же передо мною открылась дорога, ведущая в область, совершенно для меня неведомую. Я усвоил кой-какие принципы. Научный мир, в который я заглянул одним глазком, был насквозь материалистичен, и, поскольку концепции его соответствовали моим склонностям, я жадно за них ухватился. «Ибо люди, – как заметил Поп, – что бы они ни говорили, одобряют чужое мнение, лишь если оно совпадает с их собственным». Мне приятно было узнать, что сознание человека (возникшего в ходе естественно-исторического развития) есть функция мозга и, подобно другим частям его тела, подчиняется законам причинности, а законы эти – те же, что управляют движением звезд и атомов. Я ликовал при мысли, что вселенная – не более как огромная машина и каждое событие, в ней происходящее, предопределено каким-то предшествующим событием, так что никакого выбора быть не может. Эти концепции не только питали мой писательский инстинкт – они давали мне отрадное ощущение свободы. С чисто юношеской кровожадностью я приветствовал гипотезу о выживании сильнейшего. Я был очень доволен, узнав, что Земля – всего лишь комочек грязи, который носится в пространстве вокруг второстепенной звезды, мало-помалу остывающей; и что породившая человека эволюция, заставляя его приспособляться к своей среде, со временем лишит его всех приобретенных им свойств, кроме тех, что необходимы для борьбы с усиливающимся холодом; а в конце концов на всей планете – обледеневшем уголке – не останется ни признака жизни. Я поверил, что мы – жалкие марионетки во власти беспощадной судьбы; что, подчиняясь неумолимым законам природы, мы обречены участвовать в непрекращающейся борьбе за существование и что впереди – неизбежное поражение, и больше ничего. Я узнал, что людьми движет бешеный эгоизм, что любовь – всего-навсего скверная шутка, которую природа шутит с людьми, чтобы добиться продолжения рода, и я решил, что, какие бы цели ни ставил себе человек, он заблуждается, ибо у него не может быть иных целей, кроме собственного удовольствия. Однажды мне случилось оказать услугу приятелю (как я мог это сделать, раз я знал, что все наши поступки эгоистичны, – об этом я не задумался), а он, желая выразить мне свою благодарность (для которой, конечно, не было оснований, поскольку моя кажущаяся доброта была строго преднамеренной), спросил, что мне подарить. Я ответил без запинки: «Основные начала» Герберта Спенсера. В общем, книга эта мне понравилась. Но я презирал Спенсера за его сентиментальную веру в прогресс: мир, который я знал, катился в пропасть, и я с восторгом представлял себе, как мои отдаленные потомки, давно позабывшие искусства, науку и ремесла, будут сидеть в пещерах, кутаясь в звериные шкуры и ожидая прихода холодной вечной ночи. Я был воинствующим пессимистом. А между тем молодость брала свое – и жилось мне отнюдь не скучно. Я мечтал занять видное место в литературе. Я бросался в любое приключение, сулившее обогатить мой опыт, и читал все, что удавалось достать.

XXII

В то время я общался с группой молодых людей, казавшихся мне гораздо более одаренными, чем я сам. Я завидовал легкости, с какой они писали, рисовали и сочиняли музыку. Их умение оценивать и критиковать произведения искусства казалось мне недостижимым. Некоторые из них умерли, не оправдав надежд, которые я на них возлагал, другие прожили ничем не приметную жизнь. Теперь-то я понимаю, что у них не было ничего, кроме творческого инстинкта молодости. В молодые годы множество людей сочиняют стихи и прозу, играют пьески на фортепиано, рисуют и пишут красками. Это своего рода игра, выход для бьющей через край энергии и не более серьезно, чем игра ребенка, строящего замок из песка. Думаю, что я лишь по собственному невежеству так восхищался талантами моих друзей. Будь я менее наивен, я бы понял, что мнения, казавшиеся мне такими оригинальными, заимствованы из вторых рук, а стихи и музыка – не столько плод живого воображения, сколько результат цепкой памяти. Но сейчас мне важно отметить другое: такая творческая легкость свойственна столь многим (если не всем), что из нее нельзя делать выводов. Вдохновением служит молодость. Одна из трагедий искусства – это великое множество людей, которые, обманувшись этой проходящей легкостью, решили посвятить творчеству всю свою жизнь. С возрастом выдумка их иссякает, и они, упустив время для приобретения более прозаической профессии, год за годом мучительно стараются выбить из своего усталого мозга ту искру, которой он уже не может дать. Счастье их, если они, затаив в душе жгучую горечь, научились зарабатывать на жизнь, подвизаясь в какой-нибудь области, смежной с искусством, например в журналистике или преподавании.

Разумеется, настоящий художник выходит из числа тех, кто этой врожденной легкостью обладает. Без нее не может быть таланта; но она – только часть таланта. Каждый из нас поначалу живет в одиночестве собственного сознания, и постепенно из того, что в нас заложено, и из общения с сознанием других людей мы строим такой внешний мир, какой нам нужен. Оттого, что все мы – результат одного и того же процесса эволюции и что среда у нас более или менее одинакова, возведенные нами здания весьма сходны между собой. Удобства ради мы принимаем их как тождественные и говорим об одном общем мире. Особенность художника состоит в том, что он чем-то отличен от других людей, а значит, и мир, построенный им, будет особенный. Эта особенность – самая ценная часть его багажа. Если изображение им своего личного мира может заинтересовать определенное количество людей своей необычностью, или богатством, или соответствием их собственным взглядам (ведь среди нас нет двух совершенно одинаковых людей, и не всякий принимает общий нам мир целиком), за ним признают талант. Если это писатель, он окажется нужен своим читателям, и с ним они будут жить духовной жизнью, более отвечающей их устремлениям, чем та жизнь, которую навязали им обстоятельства. Но другая особенность данного писателя оставляет холодными. Мир, построенный на ее основе, их раздражает. Иногда он даже вызывает их возмущение. Тогда писателю нечего им сказать, и они отказывают ему в таланте. Я не считаю, что гений и талант – совершенно разные вещи. Я даже не уверен, что гений связан с каким-то особенным, врожденным дарованием. Так, например, я не считаю, что у Сервантеса был исключительный писательский дар; однако едва ли кто откажет ему в гениальности. Или еще: в английской литературе трудно найти более одаренного поэта, чем Геррик, но всякий, вероятно, согласится, что у него был прелестный талант, и не более того. Мне кажется, что гениальность – это сочетание природного творческого дара и особой способности художника видеть мир совершенно по-своему и в то же время с такой широтой, что он находит отклик не у людей того или иного типа, но у всех людей. Его личный мир – это мир обыкновенных людей, только обширнее и богаче. Он обращается ко всему человечеству, и даже когда люди не вполне понимают его слово, они чувствуют, что

оно полно значения. Он предельно нормален. По счастливому совпадению он воспринимает жизнь необычайно остро и во всем ее бесконечном многообразии, но вместе с тем просто и здраво, как все люди. По выражению Мэтью Арнольда, он воспринимает ее спокойно и как целое. Но гений рождается раз или два в столетие. И здесь, как в анатомии: самое редкое – это норма. Глупо, как это сейчас принято, называть человека гениальным, если он ловко сделал пять-шесть пьес или написал десяток хороших картин. Талант – это тоже совсем неплохо; мало у кого он есть. С талантом художник достигнет только второго класса, но пусть это его не смущает – и здесь он встретит многих, чьи произведения стоят необычайно высоко. Ведь таланту мы обязаны такими романами, как «Красное и черное», такими стихами, как «Мальчик из Шропшира», такими картинами, как «Галантные празднества» Ватто, – право же, выходит, что стыдиться нечего. Талант не достигает самых высоких вершин, но на дороге, ведущей к ним, он может показать вам неожиданный и чарующий вид – тенистую лощину, журчащий ручей, романтический грот. Человек так капризен, что не обязательно радуется, когда ему предлагают самый широкий взгляд на человеческую природу. Его может устроить великолепие «Войны и мира» Толстого, но он с удовольствием возьмется за Вольтерова «Кандида». Трудно было бы всегда иметь перед глазами фрески Микеланджело с плафона Сикстинской капеллы, но никто не откажется повесить у себя в комнате «Солсберийский собор» Констебла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.